

СЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИИ

ТОМ

XV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. СЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ

Г. НЕРАДОВА

ТОМ XV

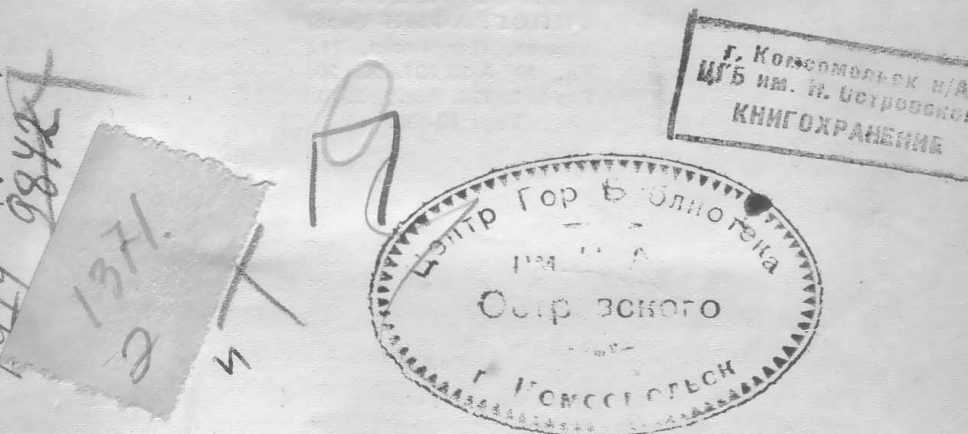
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

✓
✓
А. СЕРАФИМОВИЧ

С 32
У/3

СОВЕТСКАЯ СТРАНА

РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ



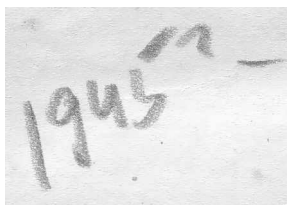
ЧИТ. ЗАЛ

МОСКВА ★ 1929 ★ ЛЕНИНГРАД

9

ОТПЕЧАТАНО

В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ Гиза.
Москва, Пятницкая, 71
Гл. № А-22 927. Х. 20.
Гиз №28724. Зак. №2970.
Тир. 10 000.



Ч У Д О

В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал казак Наумыч в станицу.

Заиндевшая лошадь бежит споро. Кругом пустая степь, занесенная снегам. Наискосок, через дорогу, тянет злая поземка. Верст семнадцать осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала.

— Что за притча?..

Шагах в десяти от дороги пар шел.

Слез Наумыч, идет, проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушонок плавает — оттаял.

— Али наваждение?.. — перекрестился Наумыч.

Знает — кругом верст на двадцать капли воды нет, степь сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.

Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь.

А в станице — прямо к попу.

— Так и так, батюшка, нонче мне наваждение в степе было, благословите. Двадцать годов езжу по этому самому месту, капли - росинки никогда там не

бывало, и называется «Сухой Лог», а тут прямо живая вода, а кругом мороз, а в ей лягушонок плавает.

Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал, да как заревет боровом:

— Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю запрягать вороных. Пошли за дьяконом, за дьячком, приготовьте облачение... А ты, мать, полезь на подловку, там в углу навалены иконы, выбери какую постарей божью мать, почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка не сумеет. Да не забудь... того... — крикнул он вдогонку, — энтото... бутылочку в сани поставить, — мороз больно здоров.

Попадья, вся в паутине, слезла с подловки и подала почернелую доску.

— На вот. Только нос у ней маленько сколупнут.

Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним здоровенный, похожий на быка дьякон — в волчьей, и в пальтишке не попадавший зуб на зуб дьячок — быстро ехали на паре сытых вороных в степь.

Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой стороны на паре гнедых тоже трое жарят: поп с дьяконом и с дьячком из хутора, — пронюхали, каналы.

Подскакали разом; выскочили попы да к воде с иконами. И стали друг дружку пихать.

— Ты что же это в чужой приход, сивый мерин! А?!

— Врешь, бабьятник, наш, хуторской тут юрт.

Вцепились друг другу в бороды. Дьяконы из саней на помощь поспешают. А у дьячков свое — кадило в сторонке раздувают.

Станичный дьякон скинул с правой руки волчину да, не крестясь, не молясь, ка-ак ахнет хуторского батюшку, — тот и ушел головой в снег.

Взревел по-бычьи хуторской дьякон:

— А-а, так ты нашего!..

Скинул тулуп, размахнулся — господи, благослови. И задрал ноги станичный поп, зад весь в снегу показал. Сошлись дьяконы, оба ражие, откормленные, с бычьими шеями, и голоса рыкающие, — быть бы большому бою, да бегут кучера, кричат:

— Батюшки!.. Батюшки!.. народ едет...

А народ действительно ехал: со всех сторон зачернели сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и хутора!

Попы, кряхтя, поднялись, и пошло: «господи помилуй и «аллилуя» и «радуйся, невесто невестная»...

На другой день народу привалило еще больше. Везут безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падучих, порченных, кликуш. И все с умилением, со слезами пьют святую воду и прикладываются к явленным, быстро стынувшим на воздухе: морозно — прилипают губы, больно отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг, кликуши голосят:

— Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас сподобили, недостойных?! Хучь бы одна, а то сразу две — преподобная Одигитрия ды Казанская божая мать...

А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц, сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных

и гнedyх не успевают отвoзить. Так тянулось целых четыре дня. Измучились попы, до седьмого поту трудятся. По области, по станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных и как они исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами видели явленные иконы в живой воде, как для болящих царицы небесные воду все прибавляют, — стало уж маленькое озерце и не мерзнет.

Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду, набирает в пузырьки, в бутылки и развозит по всей области.

На пятый день приехали на двух санях рабочие, хмурые, черные от в'евшегося металла и масла. Вылезли, достали инструменты, подошли.

— Ну, будет вам тут турусы разводить...

Вскинулись попы и молящиеся:

— Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы небесные — Одигитрия да Казанская...

— Ма-атушки!.. По матушке бы вас всех... Ишь, сколько воды нашло. В станице, почитай, водопровод стал, без воды все сидят. Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с водосвятием. Ну, пускайте, некогда нам тут с вами...

И принялись за работу. Развели костры, оттаяли землю, вырыли колодцы; открыли водопроводную трубу, заменили лопнувшую часть новой, опять засыпали землей и уехали.

Поднялась метель, все бело сравняло, и опять осталась степь пустынная, одинокая, безлюдная.

ДВЕ БОЖЬИ МАТЕРИ

На окраине огромного города, высоко над рекой, красиво белел большой дом. Внизу, на берегу, черно дымила фабрика. В третьем этаже белого дома, в громадных комнатах, залитых солнцем, жил хозяин фабрики с семьей. В полутемном подвале жил ткач с ткачихой той же фабрики.

У фабрикантши родилась дочка. У ткачихи тоже родилась маленькая.

В великолепной спальне висел образ божьей матери в золотой ризе. Барыня верила в бога, но знала, что божья мать хорошо нарисована на доске, а толку от нее никакого не будет, если у человека нет денег. У ткачихи в запаутиненном углу тоже висела доска с почернелым ликом и глазами. Ткачиха с глубокой верой молилась, думала, что на нее смотрит сама божья мать, живая.

У фабрикантши были вокруг ребенка няньки, мамки, горничные, и кормила молодуха, которая из-за нищеты с тоской бросила свое дитя в деревне умирать на кислой соске, набитой ржаным хлебом.

Ребенок ткачихи целый день, надрываясь, кричал, голодный, в мокрых вонючих пеленках, некому приглядеть — мать и отец целый день за гремучим станком на фабрике, и ни на минуту не замирала тоска по своему маленькому.

Дочка фабрикантши расцветала, как цветок, — розовая, с перетянутыми ниточками ручками и ножками. И смотрели на нее нарисованные на доске глаза в золотой оправе. Дочка ткачихи — желтенькая, со старушечьим личиком, кривыми ножками, как пожелтелая травка в темноте погребка. И смотрело на нее почернелое лицо, нарисованное на потрескавшейся доске.

Заболела дочка фабрикантши. Налетели со всех сторон самые знаменитые доктора, профессора, платили им большие тысячи — и выпользовали девочку. Опять она, розовая и живая, щебетала, как птичка. И смотрела на нее хорошо нарисованная доска в золотой оправе.

Заболела дочка ткачихи, — стало ей сводить ручки и ножки, почернело маленькое личико, повело поси-невший ротик. Билась головой о доски измученная мать, рвала волосы, кидалась на колени и страстно молилась, мучительно сжимая грудь костлявыми руками и иступленно глядя на почернелую доску полными муки, слез, надежды, отчаяния глазами:

— Мати пресвятая, пречистая, заступница! Спаси ты мне дочечку... вызволи ты мне дочечку... пущай поздоровеет моя девочка... поставь ты ее на ножки... За что так она мучится?! Мати пресвятая...

Гудит гудок, бросает ткачиха, глотая слезы, больную крошку, бежит работать на фабрикантово семейство. Уходит и ткач на работу, а в глазах — тоска.

Умерла маленькая и лежала как желтенький свернувшийся листик, а в углу висела черная доска.

Поп торопливо похоронил, стараясь поскорей отделаться и скороговоркой приговаривая:

— Пути господни неисповедимы... зато ей там хорошо будет... на том свете.

— Хоть бы она на этом, хоть бы часочек, один бы часочек как следует пожила, — захлебываясь, говорила мать.

Поп прикрикнул:

— Не гневи господя! Господь каждому дает крест, и каждый должен нести его. А то гореть тебе в пещи огненной.

Росла и расцветала дочка у фабрикантши, у ткачихи тлела в могиле, и никогда не заживала тоска у замученной женщины.

Попрежнему висели две божьи матери, — одна наверху, в вызолоченной оправе, хорошо нарисованная на доске, другая — в полутьме подвала, полопавшаяся, на почернелой доске.

ЕЖЕДНЕВНО ТВОРИМОЕ

Быль

Ревели автомобили; катились, визжа на поворотах и роняя синие искры, трамваи; спешили пешеходы; улицы кипели с утра до ночи и ночью жили, залитые светом дуговых фонарей, а по ресторанам музыка, вина, цветы, заморские кушанья, — буржуазия с удовольствием жила на свете.

На окраинах дымились фабрики. С зелеными лицами рабочие в неустанном труде созидали богатства. Крестьяне в невысыхающем поту добывали из скупой земли хлеб помещикам. Все было обыкновенно, все было так, как привыкли, и никто не думал, никто не подозревал, что в этой привычной, обыденной обстановке непрерывно сеялись чудеса, день и ночь сеялись чудеса, как невидимый, неосязаемый дождь.

Нет, не святые творили эти чудеса, не праведники, не господь, не мать божия, не по-старинке творились эти чудеса, а... а как же? А вот послушайте.

Была Пасха, пришлось она в апреле 1912 года. Звонили колокола, и весело разносился звон в весен-

нем воздухе над рекой Проней. А вдоль речки раскинулось большое село Жерновица Рязанской губернии Спасского уезда. По всем избам ходил поп Иван с дьячком, гнусавили «Христос воскресе» и набивали мешки даяниями. Да мало показалось. Велел поп приготовить три лодки, взял двух работников, которые за гроши гнули на него свои хребты, позвал дьячка, подняли они раскрашенные доски, на которых были страшные морды князей, царей, разбойников, кои именовались

«святыми», вооружился увесистым медным высебренным крестом, и поехали по вздувшейся реке, по которой проносились льдины, на другой берег, в деревни Ершово и Муняково.

Целый день таскались они по деревням «крестным ходом» и доверху набили мешками с даяниями две лодки. Собрались ехать назад.

А тут приносят гроб с покойником, просят батюшку взять в лодку для отпевания в церкви. Батюшка взял и покойника и четырех к нему носильщиков — за мзду.

Пришли кум, кума и бабка и принесли новорожденного: крестить надо в церкви, — и их взял батюшка, тоже за мзду. И покойника с носильщиками и новорожденного с кумовьями и бабкой поп посадил в две нагруженные даяниями лодки, а сам с дьячком и с иконами сел в третью, пустую.

Собрались крестьяне на берегу, провожают духовного отца, поглядели на реку и говорят:

— Батюшка, беспокойна, гля, река, — вишь, льдины гонит. Ты, батюшка, вели мешки выгрузить да с народом налегке поезжай, а мы тебе завтра сами все

потянула ко дну кружка, привешенная к шее и набитая медными деньгами со сбора. Скрылся и он. И носильщики. Только два поповских рабочих, молодые парни, не желая лезть в царствие небесное, поплыли к поповской лодке, которая изо всех сил уходила от захлебывающихся людей, от криков, воплей и моления.

Ухватились работники за поповскую лодку, смотрят на попа страшными молящими глазами:

— Батюшка, спаси нас!..

Кинулся к ним поп с перекошенным, звериным лицом — раз! раз! крестом по рукам, по головам, — те оторвались.

А на берегу толпы народа, почитай, вся волость сбежалась, бабы, мужики, дети — плачут, мечутся: нечем помочь.

Причалил поп, вышел, распатлатился, глаза горят, как у кошки, звериным страхом пережитого, и осенил народ крестом. И тут свершилось чудо: повалился народ ниц перед крестом, на котором густо краснела кровь поповских работников. Осенил крестом и заговорил по-церковному, нараспев:

— Подымайте, православные, чудом спасенные святые иконы. На ваших глазах в пучине морской погибли те, кому в неисповедимых путях господних начертано было погибнуть, чьи грехи господь видел всевидящим оком своим, но святые иконы господь незримо вынес ангелами своими и архангелами, херувимами и серафимами, дабы всему миру возвестить силу и славу свою.

Подняли иконы и всей волостью с пением двинулись к церкви.

Но это чудо не осталось только в селе Жерновицах Рязанской губернии. Оно перекинулось в Москву и расплозлось оттуда, как масляное пятно, по всей России.

В Москве капиталист издавал газету «Русское Слово». И то чудо, что поп творил в селе Жерновицах, когда у людей их собственные глаза видели одно, а ослепленный ум — совершенно противоположное, это чудо ослепления «Русское Слово» совершало над всей читающей Россией.

Через неделю после того как поп разбил судорожно вцепившиеся в борт руки своих работников, в «Русском Слове» было напечатано:

«В селе Жерновицах, Рязанской губ., Спасского уезда, при переезде на трех лодках причта с иконами и богомольцами через разлившуюся реку Проню от ледохода две лодки с богомольцами погибли, а лодка со ев. иконами и священником отц. Иоанном чудесно спаслась».

«Русское Слово» печаталось в одном миллионе экземпляров, да каждую газету читало по меньшей мере пять человек, стало быть, пять миллионов человек глядело на жизнь теми глазами, какими было выгодно капиталистам, буржуазии.

И это величайшее чудо — в буржуазных обществах, которое сеется ежедневно, ежечасно бесчисленными семенами лжи, обмана, подлого религиозного и иного усыпления, дабы держать в узде и кандалах миллионы трудящихся.



ТАИНСТВО СВ. ПРИЧАЩЕНИЯ

Часов пять месил грязь. Кругом весеннее туманное поле. Топкая дорога. И всего-то от станции верст семь. Было утонул, стал перебираться через овраг. Вылез. Вот и деревенька со взгорья открылась; церковь посредине белеет.

Подхожу к крайней избе. Стоит парень с настороженным, напряженным лицом, с длинной палкой в руке.

— Доброго здоровья, гражданин.

Парень молчит, как не с ним говорят, напряженно смотрит на мои губы.

— Здорово, — говорю. — Можно зайти в избу передохнуть?

— Кого спихнуть?

— Передохнуть, — говорю, — зайти в избу?

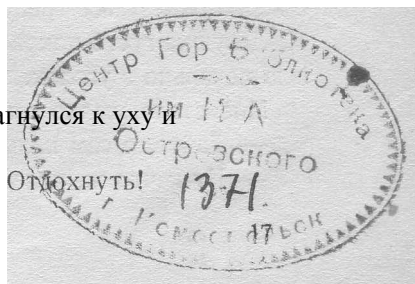
— А! Купец?

— Я не купец.

— Какой боец?

— Э, глухая тетеря! Я нагнулся к уху и заорал:

— Зайти в избу можно? Отдохнуть!



— Можно... чево ж... заходи... — и вперед.

Зашли в избу. В нос шибануло тяжелым духом. В первой половине громадная почернелая печь, теленок, куры. Во второй горнице, почище, громадная кровать под пологом, часы с остановившимися гирями на оклеенной газетами и картинками стене.

— Доброго здоровья! Можно у вас отдохнуть?

— Ну-к что ж, садись, добрый человек, отдыхай!

Кипит самовар. За столом — бородатый; поставил блюдечко на три пальца и тянет горячий дымящийся чай; капелька пота болтается на кончике носа.

— Выпей чашечку с устатку, — говорит, гундося, хозяйка, высокая степенная старуха с провалившимся носом.

— Доченька, налей странному человеку чаю, — сказала, гундося, ласково старуха.

К столу смущенно подошла миловидная девушка и, слегка отворачиваясь, стала наливать. Я взглянул и обмер: с милого лица вместо носа глядели две чернеющие дырочки.

— Н-нет... спасибо... я пил, — сказал я, осторожна дыша и, стараясь почему-то не втягивать в себя глубоко воздух.

— Всегда так, — сказала печально старуха, — с первого разу все требуют: бояться заразы.

Девушка густо покраснела, отодвинула чашку и отошла печально в уголок.

Мне стало жалко их.

— Дайте, я сам налью себе!

— Ну-к что ж, налей, соколик, налей! Воды много.

Я тщательно вымыл чашку и блюдце, обдал кипятком, налил, достал из кармана кусок сахара и стал пить,

— Знамо, требуют,— сказал бородатый,— но тут, между прочим, безопасно: как нос провалился — шабаш, больше никого не заразит. Закрепилась, стало быть, болесть, не переходит на другого. Доктора сказывают.

— Давно это у вас?

— Давно, батюшка, — сказала с привычной печалью старуха, — вот как она родилась,— кивнула она на дочь.— Ты не подумай, не от греховного баловства несчастье наше. Почитай, дворов десять болестью этой дурной заболело. Вишь ты, приехал о те поры солдат наш деревенский и привез эту самую дурную боль. Рот-то у него весь в ранах — боялись его все, бегали от него — никто с ним не ел, не пил. А он затосковал, поститься начал, все, бывало, говееет да к исповеди ходит да к причастию. Ну, моей дочечке как раз аккурат месяц. Я и понесла ее к причастию. Причастила. У ней ротик через сколько-то времени и заболи — болит и болит. Я и водкой протирала и обмывала, нет — болит и болит, больше и больше. Гляжу: и у меня какая-то сыпь пошла. А мне и в голову не вкинулось. А через год-то гляжу: носик-то у ней стал западать. Я повезла в больницу. А там меня зачали ругать: «Ах, такая-сякая, до чего ребенка запустила». Осмотрели и меня. «Да и у тебя, — говорят, — то же!» — «Родные мои, — говорю, — я мужняя жена, никогда против его не согрешила». — «Дура, — говорят, — ты

ребенка,— говорят,— где-то заразила, а ребенок тебя». Поплакала я тогда. Положили нас с дочечкой в больницу. Послали хвершала в нашу деревню, — откеда, мол, эта боль явилась! Расспросил хвершал, узнал про солдата, нашел больных еще в десяти избах, аккурат с солдатом в одно время причащались, говели вместе. Дохторица мне потом рассказывала: стало быть, солдат-то как причащался, больного гною из роту и напустил в ложечку...

— В лжицу! — сказал бородатый, потягивая чай.

— Ну, да я не умею по-священному. Напустил в ложечку, а батюшка нам и раздавал с святым причастием. Ну, вот у ней-то нос совсем, а я гундосю.

— Таинство святого причащения, — мрачно оказал бородатый.

— Митюша, садись чай пить, — громко, гнусая, сказала старуха.

— А?—вытянув шею, напряженно ловил движение ее губ парень.

— Чай садись пить!

— Куды иттить?

— Чай, говорю, пей! — закричала она сердито.

— Отчего это он у вас?

Она подперла локоть рукой и стала глядеть на улицу, где, с трудом вытаскивая ноги из густой черной грязи, брела корова.

— От этого же самого. Первенький он у меня. Как девочка приняла причастие, его не было, у свекра жил. А потом привезли, он и принял эту боль. А нам невдомек. Лечили, да кабы как следует, а то лишь залечили!

Она и вступила ему в уши. Тикет и тикет из них. Так и оглох!

Она вздохнула и безнадежно посмотрела в окно.

— Муж-то ваш где? На работе?

— С ума сшел. Все от нас! От нашей болести заразу принял. Теперича одна с ними осталась. Девку-то кто возьмет? Да и за парня никакая не пойдет. Одно горе, одно горе... Скупая слеза ползла по ее степенному лицу. Я попрощался и вышел. Недалеко белела церковь.

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ

— Так это вы изволите сотрудничать в «Безбожнике»? — сказал, преодолевая монотонный гул колес, старик, мой сосед, с седеющей благообразной бородой.— Читал-с. Очень на веру напирать изволите. И напрасно-с. Ежели отнять веру у человека, что ж от него останется? Вы, конечно, от науки, изучаете небесные светила, движения всякие, — почтенно, почтенно. Вы пишете, а я читаю — дозвоьте и мне свое суждение иметь. Вы от науки, а я от жизни. Я просто хочу вам рассказать мою жизнь, и вы увидите: кто с верой обращается к богу, того он устраивает. Все единственно от господа бога нашего Иисуса Христа. Вот кто устроил нашу жизнь, если только с верой. Я вот вам расскажу свою жизнь. Так вот, папаша мой, царство им небесное, имели большую торговлю, а также дома и две бани. А между прочим, когда мне стукнуло двадцать лет, они привезли меня в город и сказали: «Ни копейки от меня не получишь. Я из трактирных мальчиков добился, добивайся и ты и составляй капитал. А как помру — все твое с братьями, и к своему приумножишь и мое».

Горько мне было, молодой, жить хотелось, да уж папаша сказал —кончено: кремень человек был. Все бы ничего, да была у меня модисточка Соня, беленькая, веселая да ласковая. И денег у меня никогда не требовала, своим трудом себя содержала, и сынишка от меня родился. Славный мальчишка, все ручонками ко мне тянулся, привык к нему. Жениться на ней не думал, а как вспомню: расставаться не миновать, — защемит сердце. Ну, вижу, тупик мне. К кому? Кто посоветует? Одно осталось — к господу богу. Пошел к Иверской божьей матери, отслужил молебен с акафистом, — полтора рубля обошелся, — и жарко молился, до слез. И что же бы вы подумали? Как осенило меня: женись на Глафире. У меня аж сердце зажалось, аж дрожь прошла — жалко Соню, мальчонку жалко... Глафира же Пудовна при больших капиталах была. Дело прошлое, а знал я, да и все знали — в девицах двойню своему папаше принесла. А мать божья Иверская, пресвятая, пречистая дева так пронзительно смотрит на меня и приказывает глазами: иди! Ну, посватался, сыграли свадьбу. А в церкви глянул — стоит моя Соня в уголку, ни кровинки в лице, ребенок на руках, стоит, хоть бы слово сказала. У меня помутнело в глазах. Эх, думаю, никогда такой желанной не была, хоть помереть. Ну, дело прошлое, — не то чтобы моя: Глафира Пудовна на всех зверей была похожа, а правду сказать — глянешь да крякнешь. Ну, что было, то прошло. А вот вы говорите, промысла божьего нет. Да как же нет? Когда с женьбы я и на ноги стал, человеком сделался, даже папаша меня уважать стал, и

Глашенькин капитал помаленьку на свое имя перевел. Сами понимаете,— у бабы волос долог, ум короток. Отечеству пользу приносить — это дело мужчинское, не бабье, и каждый, кому господь сподобил заслужить капитал, обязан эту пользу родной стране приносить. Хорошо. Стали жить...

— Что же, хорошо с женой жили?

— Душа в душу. Разумеется, в супружской жизни бывают случаи, не без того. Извольте видеть, вот, повыше уха шрам, — кочергой горячей с'ездила, чуть не убила. Но я вам прямо скажу: не умом, не образованием, а единственно упованием на господа нашего Иисуса Христа стал я человеком. Верите ли, ни одного дела не совершал без божьего благословения. Помер папаша, я сейчас к Иверской: матушка, научи. А она, пречистая, так-то вразумительно смотрит на меня и говорит глазами: «Иди,—говорит, — спасай капиталы у твоих братьев для пользы отечества». Божья воля! Поднялся я с коленок, пошел к братьям. А надо сказать, два брата у меня, но не туда пошли. Оставил нам папаша поровну капиталы, дома, торговлю. Я-то стал производить капиталы в дело, как в Евангелии сказано, а они — напротив. В Евангелии сказано: легче верблуду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное. Но как это понимать надо? А так. Сказано: получивший десять талантов (а талант по нынешним деньгам — большие миллиарды) зарыл без всякой пользы.

А получивший один талант — пустил его в оборот и нажил талант на талант, ан, вышло сто процентов. По нынешним временам это за спекуляцию повернут

и, гляди, в Чеку сядешь. А между прочим, кого господь благословил? Того, который капитал удвоил. А который не умел с капиталом распорядиться, того обозвал «рабом лукавым и ленивым». Господь в первую голову наблюдает, чтобы богатый правильно капиталы свои приумножал для пользы отечеству и народу, а который не умеет правильно свой капитал обернуть, тот господу богу супротивник, и в рай ему труднее влезть, чем верблюду в ушко. А позвольте вас спросить, кто храмы строит? Кто жертвователи? Ну вот, приступил я к братьям. Вижу, братья мои единоутробные — «рабы ленивые и лукавые», зарывают даденные таланты. Один в университет пошел, другой — по музыкальной части. Нет, думаю, эти господу не угодны, прямо верблюды, не пролезут. А чтобы капиталы трудовые папашины не пропали, я их к рукам прибрал. На мое и вышло: один брат по политике в ссылку ушел. Говорили: можно вызволить, взять на поруки, похлопотать. Верите, целую неделю мучился: жалко братишку, ведь своя кровь. Да раз ночью сновидение: из переднего угла, от икон вышел ангел, весь в сиянии, и глаголет: «Делай свое, приумножай даденное». Проснулся я утром в слезах и понял, какое направление мне дала владычица небесная. И пошел к Иверской и коленопреклонно возблагодарил пресвятую. Потом пошел в храм Христа спасителя и отслужил благодарственный молебен с коленопреклонением, акафистом и певчими, и стал он мне без малого пятьдесят целковых. Так и сгиб братишка по своей вине в Сибири, а другой в босяках пропал. А вы говорите — промысла божия нет.

Он замолчал. Задумался. Сквозь окно глухо мелькали черные деревья.

— Вот, — заговорил он опять, — пришла революция. Ведь всего, всего лишился: капитала, домов, торговли — всего. За что? За что такое?

Вдруг он поднялся покачиваясь.

— А вот тут-то и сказался промысл божий: все понемногу опять ворочается — и капитал, и дела, и торговля. Помните Иова? Все сжег господь, испепелил, уничтожил, и все опять восстанавливает во всей силе и блеске своем. И когда открыл я торговлю свою и стал брать подряды и опять, не как раб ленивый и лукавый, а господень послушник, стал на пользу отечества к таланту прибавлять талант, заказал молебен с акафистом и водосвятием в шести церквах, и это обошлось в миллиард двести — курс-то знаете теперь какой? Даже слепые узрят отныне все величие промысла божия...

ПОМОЛЕБСТВОВАЛ

В Тульской губернии, в одном из южных уездов было большое помещичье имение на тысячу десятин. Возле лежали две деревни.

Помещик сеял много хлеба, засеивал свекловицу, было клеверное поле, держал молочный скот, был громадный сад.

Сеяли, разумеется, хлебушко и крестьяне, держали помалу скотинку, возили навоз на поля, были кое у кого садишки, а жиж туго, недоедали, недопивали. Ходили вшивые, грязные. Ребятишки бегали кривоногие, с обвислыми животами, с желто-бледными лицами, — ведь они, как птицы, бесперечь есть хотят, а часто и куска хлеба у матерей нет—все им брюхо набивают картошкой.

Туго жили крестьяне: земли — с сохой повернуться негде. Ни угодий, ни выгона, ни лугов, ни леска. Скотинка ходила мелкая, захудалая... Молоко, какое и было, несли на барский двор, на маслобойку, — ребятенки молока и не нюхали.

Родился у крестьян хлеб тоже туга. Ежели снимут с десятины двадцать пять, тридцать пудов, — радости нет конца. А то, не редкость, только-только семена воротят.

Помещик снимал и по семидесяти пяти и по сто пудов.

— Што ж, яму можно, — эва, земли сколько!

— Да ведь с десятины.

— Ну-к што ж? Ему есть чем взяться — капитал, — почесывали в сбившемся на голове войлоке крестьяне.

А сами искоса все поглядывают на помещичью землю: «Кабы нам эту землю, мы бы произвели».

Чует помещик — идет смятение в народе. Так, снаружи-то ничего не видать, — все тихо, чинно, спокойно: урядники, старшины, сотские, становые, исправники — все на своем месте, а чуют, все чуют: за этими заветренными, обросшими, покорными, почернелыми от земли, горя, бедности лицами таится своя незамирающая дума. Таится и все растет и все ширится, все сгущается в черную хмару, что повисла над всей русской землей.

«Эк его,—думает помещик, — молчит, молчит мужик, да как прорвет его, и «ох» не успеешь сказать».

И надумал.

Приходит в деревню:

— Ну, вот что, мужички. Вижу — трудно вам...

— Куды туже, конца-краю не видать,—мнут шапки.

— Ну, то-то. И живете по-волчиному — лба пере-крестить негде, — ни церкви, ни школы.

— Куды! Прямо зверьем живем.

— Ну вот. Решил я построить вам церковь и школу.

Как ветром нагнуло крестьян, закланялись:

— Покорно благодарим! Век твои молельщики, благодетель наш!

А бабы от радости в подолы стали сморкаться, глаза красные утирают.

Помещик поставил церковь, выстроил и открыл школу церковно-приходскую, чтобы псалтирю поп с дьяконом обучали детей. Сам с'ездил в город, побывал у архиерея и привез из города двух: крестьянам — попа, себе — агронома.

Поп завел свое, агроном — свое.

Поп в воскресенье и под воскресенье, каждый праздник, который вывернется на неделе, и под праздник «аллилуйя» и «господи помилуй», и «благословен грядый»... и много всякого другого, непонятного и гундосого.

Но особенно напирал проповедями. Как служба, так и проповедь.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»... И пойдет, и пойдет тачать. Соседа Игната возлюби. Старшину возлюби. Помещика возлюби, управляющего его возлюби.

«Нет власти, аще не от бога». Тут уж вовсе разливается соловьем: и государя императора чтите как помазанника божия, и губернатора чтите, и исправника чтите, и станового чтите, и урядника чтите.

«Не будьте рабами лукавыми и ленивыми». Трудитесь, и все вам дастся. Лень — мать всех пороков, оттого у вас и бедность...

Стоят крестьяне, слушают, корявые, со спутанными бородами, с глубокими морщинами на замученных лицах; руки, как плети, висят, черные, мозолистые, похожие на копыта, полопавшиеся от вековечного неустанного труда; стоят, слушают, покачивают головами: верно, мол.

Стоят и бабы, как замученные клячи, стоят, вздыхают и снова крестятся, низко кланяются попу и образам: «Господи, господи! Мочушки нашей нету, силушки нашей нету»...

Хорошо стало с попом.

Опять и другое с попом хорошо. Бывало, начнет хлеб гореть, мечутся крестьяне, никак попа не достанут, — чужая церковь далеко, и поп там у своих нарасхват, тамошние деревни к себе тянут, никак крестьяне не дождутся своего череда.

А теперь совсем другое стало. Случилась засуха на все лето, — стали гореть хлеб, трава; пашня как кирпич; лопается земля до самого нутра. Видят крестьяне: пропадают. Надо меры принимать.

Сейчас же кинулись к попу. А он под руками, тут же, свой, не надо ездить по чужим деревням, побираться чужим попом.

— Батюшка, пройдишь с молебствием по полям, гибель наша!

Поп заправил волосы, собрал все свои причендалы. Забрали иконы, понесли на высоких палках вышитых

людей, обе деревни поволоклись — и стар и млад. Пел поп с гундосым дьячком, окропил все закоулки, поля, все сады.

Сгорел весь хлеб дочиста — ни зерна не собрали, а сады сожрала гусеница. Многие крестьяне заколотили избы, продали последнюю коровенку, ушли на заработки, а бабы с ребятишками, почернелые от голода и горя, пошли с сумками побираться.

Не жаловался помещик и на агронома. Сбыл агроном всех старых малоудойных коров, завел хороший, породистый скот, и ну кормить его картошкой, свеклой. Велел пахать не в августе, сентябре, как это раньше было, а с мая. Да все лето по пашне гонял бороны, которые рыхлили верхний слой, не давали ему ссыхаться в комья. Привез из города какое-то зелье и ну из кишки опрыскивать деревья в саду. А уж с зерном, которое на семена, как с ребенком возился: насквозь его обобрал, вычистил, отвеял, как стеклышко, зернышко к зернышку.

Пришла жатва, и помещик снял двести пудов с десятины. Втрое стали давать молока коровы. И чудесные, наливные зреют яблоки, без пятнышка.

Удивляются крестьяне, качают головами:

— Колдун!

— Батюшка, отслужи молебен!

Пришли две революции. В первую революцию спихнули царя, да оставили землю помещикам, капиталы и фабрики — капиталистам. Во вторую революцию коммунисты спихнули помещиков и капиталистов, земля перешла крестьянам, фабрики — рабочим.

Наш помещик насилу ноги унес, убежал. Агроном уехал, поп остался.

Поделили крестьяне землицу, крикают, ухмыляются:

— Покропи, батюшка, новорожденную землицу.

Покропил. Сняли крестьяне по восемьдесят пудов.

То-то радости было. На следующий год:

— Помолбствуй, батюшка!

Помолбствовал. Сняли пудов по двадцать пять с десятины. Затуманились крестьяне. Тоска стала заползать в крестьянские души.

— Што ж это, батюшка, край приходит, помирать и с землицей — на старое с'езжаем.

— По грехам вашим, по грехам вашим, — каркает поп, — господь наказует. Неладно молитесь, не от усердия.

Качают исхудалыми победными головушками крестьяне.

— Верно, правильно. Мало молимся, много грешим. Подымай иконы, батюшка, пройдишь по всем полям.

Подняли иконы, прошлись по всем полям, по всем лужкам; кропил поп направо и налево, выкропил ведра два. Служил молебны с акафистом и без акафиста — до самой до ночи. Заморился народ, насилу ноги приволок домой.

Пришла жатва,—глазам своим не верят крестьяне: сняли... по два, по три пуда с десятины.

Собрался сход.

— Вы вот чего, старики...

Говорит, а его слушают, потому свой, деревенский. Давно ушел на фабрику, теперь приехал коммунистом.

Случилось так, что приехала с ним молодежь, свои же, деревенские красноармейцы.

— Вот что, старики, совет вам дам, а вы послушайте.

И дал им совет. Зашумели крестьяне:

— Да разве мыслимо! Да что ты, ай белены об'елся! Да ни в жисть этого не сделаем. Али мы богачи какие? Мы не помещики.

Молодые, из красноармейцев, вступились:

— Непременно так надо сделать, как говорит товарищ. Он же наш. Опять же — коммунист.

Как ни упирались старики, перегорланили их молодые. Делать нечего, завернули полы, достали кошель, собрали денег. Выбрали двух, вручили им сумму, укатали в город.

А тут поп подвернулся:

— Вот что, православные: дровец надо на божий храм, да и мне и причту надо заготовить.

— Ну-к што ж, — почесались старики.

— Не надо, не будем!—заорали молодые.

— Ну, а мы как же, одни не сдюжаем — старые.

Вз'ярился поп.

— Так вы вон куда гнете! Священника не принимаете, за требы, стыдно сказать, как нищему, даете!.. Проклянет вас господь!

Старики испуганно закрестились, а молодые закричали:

— Пушай проклянет! Небось, обсохнем...

— А-а, так вы так!.. — завопил поп.—Повешу замок на церковь!

— Давно пора.

— Вешай... ишь, не догадался!

— Хоть себе на шею!

— О, господи! — попятились старики, все так же испуганно крестясь.

Навесил поп на церковь замок, уехал неведомо куда.

А тут как тут—те двое из города приехали, третьего с собой привезли — агронома, да еще прежнего, что у помещика работал. Всем обществом приняли.

Принялся он за свое: и пахоту раннюю ввел, и боронить заставил целое лето, и навоз указал, как и когда вывозить и запахивать, и золу велел выгребать и все на пашню, и зерно на семена насквозь прочистить, и сады опрыскивал. Кряхтят крестьяне, раскошеляются, — все это денег стоит.

— Эх, мать ты курицына, плакали наши денежки!

А делать нечего, не попятиться: назвался груздем, лезь в кузов.

Вскружился год. Сняли хлеб, и ахнул народ: сто пудов десятина дала! Ахнул народ и рассмеялся во всю рожу:

— Вот так здорово!

Звонкие да веселые деревни стали. Глядь, поп приехал— худой, облезлый, видно, безработный, скучно.

— Православные, возблагодарим господа за милость его неизреченную, ниспосланную на вас. Обойдем все поля с молебствием...

С сотню здоровенных черных, земляных, полопанных кукишей протянулось к нему:

— На-кось, выкуси!..

БУНТ

1. УСАДЬБА И ДЕРЕВНЯ

Возле речки — деревенька. Покосились избушки, обвисли почернелые, об'еденные соломенные крыши, в разгороженных дворах худая скотиненка, и не в каждом дворе лошадь, — захудалая деревенька. Ребятишки ковыляют желтые, кривоногие, и животы обвисли, по коленкам болтаются. Бабы замученные; крестьяне рваные, волками глядят. Бедность непокрытая, бедность вековая. Своей землицы — курицы выпустить некуда, с сохой не повернешься. А всю землю арендуют у барина.

Эва, барин за речкой раскинулся усадьбой. Дом колоннами глядит на деревеньку, за домом — великолепный сад, а за садом — парк, и в нем вековые липы, дубы. В просторных укрытых дворах породистая скотина, отличные лошади. А плуги, бороны, молотилки — все заграничные.

Три тысячи десятин у барина. Мало он обрабатывает своим хозяйством, а почти всю землю сдает крестьянину, — крестьянин — он добудет копейку.

2. И ДОХОДЫ БЫ ПОРЯДОЧНЫЕ, ДА РАСХОДЫ ВЕЛИКИ

А барину деньга нужна, уж как нужна, и много нужно. Да, помилуйте, как же ему без денег! Живет он с семьей в Петербурге да по заграницам, — а там каждый день сотни требует, а то и тысячи. Да вы посудите — не лапотник какой-нибудь, не голодранец, а у самого царя с супругой, с дочерьми, с сыновьями бывает на балах во дворце.

А как на бал к царю ехать, супруга и дочки из Парижа платья выписывают за многие тысячи. Вот крестьяне и должны стараться барина своего не уронить.

В деревню барин редко заглядывал: раз в два-три года приедет, и то хорошо, — нечего ему тут делать, за границей веселей. А уж как приедет к себе на усадьбу — разливанное море пойдет. Привезет с собой двух лакеев да повара, да к барыне горничную, да к дочерям горничную, да конюха, да кучера, да прачку, потому и барин, и барыня, и баринок, и дочки привыкли жить чисто, вольготно, чтоб много народу около них возилось.

Глядят через речку крестьяне, думают: «Эк их, челяди приволокли!»

А в усадьбе — пиры горой. На террасе раскинут громадный стол. И чего-чего только нет: и еда разная, и вина заморские, и блюда серебряные, и посуда хрустальная, и весь стол уставлен цветами, чисто в саду, а уж скатерть белая, как кипень.

А крестьяне смотрят через речку: «Эк-к их, мать честна! ну, и сладко живут!»

С'едутся гости: помещики на тройках с бубенцами, предводитель дворянства, исправник, а помещицы жены и дочери в белых воздушных платьях, белотелые и пышные, с цветами в волосах. Прикатит и поп, шелковую рясу на этот случай наденет, золотой крест. Вот благословит «пития и яства», и все шумно садятся за громадный стол, — гляди, человек шестьдесят сядут.

Лакеи суетятся, подливают в рюмки вина, наливки, ликеры, баре пьют и едят, золотыми зубами вставными жуют, посверкивают, гуторят по-французскому,

А крестьяне почесывают спины за речкой: «Ну, и здоровы жрать, чисто борова. Ды краснорожие какие!» Плюнут и пойдут по избам, а тощие животы еще туже подтянут опоясками.

До самого до вечера гремит помещичий дом музыкой, смехом, пением, звоном стаканов, рюмок. А вечером весь дом горит огнями; горят разноцветные фонари по всему саду; колышутся фонарики зеленые, красные, голубые на лодках, на которых гости катаются по речке. И долго несутся с речки, из сада и из залитого огнями дома веселые, пьяные, об'евшиеся голоса, и долго никак не утихомируются на насести обеспокоенные деревенские куры.

3. СОБЕРИ В СРОК!

Стал собираться барин со всем семейством в Москву на торжества. Призывает управляющего, говорит:

— Иван Никанорыч, я уезжаю с семьей в Москву— на коронацию, в срок вышлите деньги, без опоздания. Сколько причитается к первому сентября?

— К первому сентября с шести деревень следует шестнадцать тысяч рублей.

— Смотрите же — в срок.

— Слушаю, — сказал управляющий, краснорожкий, а по пузу серебряная цепочка от часов — на лабазника похож, и глядел на барина собачьими глазами.

4. КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ

Шумит в деревне народ, потянулся на церковную площадь к правлению. Вся площадь темнеет крестьянскими головами.

Пришел управляющий, переваливается из стороны в сторону. Взошел на крылечко правления, замахал красными волосатыми руками и заорал хрипло бычьим голосом:

— Тише вы, галемяки!..

Смолкло крестьянское море, тысячи крестьянских глаз впились в управляющего. А он постоял, глядя на них по-волчиному, и сказал:

— Вот что, мужички, подходит срок аренды. Вы должны внести все до копейки. Никаких отсрочек не будет, никаких послаблений, — все до копейки. За кем хот гривенник останется, у того будет все продано до последней овцы.

Площадь затихла, как будто мертвого пронесли.

Потом бабий голос, тонкий, как птица, вскинулся:

— Пропали мы теперича все!

И как прорвало, загомонела, зашаталась вся площадь:

— Куды жа нам!

— Ни зерна!

— С десятины и по два пуда не собрали...

— Ложись ды помирай...

— Избы заколотим, уйдем куды глаза глядят, и
с ребятами...

Управляющий ушел, расталкивая толпу.

Сгрудились крестьяне посреди площади. Качаются
победные головушки, скребут черные, полопавшиеся от
земли пальцы в слипшихся волосах, да ведь ничего
не выскребешь. Бабы истошно голосят.

— Погибель... всем погибель... пропадаем, братцы!

— Ни снопа...

— Скотина вся сгинет.

— Весной звания не останется...

— Нечем взяться...

Вся площадь залилась криком, плачем, затопило
слезами, в судорогах народ.

Митька, солдат хромой, хлопнул шапкой оземь
и завизжал, как недорезанная свинья:

— Бра-атцы! ды подём мы к барину... к самому...
падем в ножки: пушай не казнит, пушай милует...
пушай ослобонит... зима идеть... все животу проедем....

Взбушевалось крестьянское море:

— К барину...

— К самому...

— Будем просить...

Бабы замученными голосами:

— Слезьми ему ноженьки обмоем...

— Ребятенки все пропадут...

— Рожали их...

— Управляющий, ён себе в карман норовит ..

5. ДОБРЫЙ БАРИН

Потекла вся площадь за речку к барской усадьбе— крестьяне, бабы, девки, ребята малые, старики, старухи; остались на деревне одни куры да захудалые овчишки — и младенцев-то всех бабы утащили.

Весь барский двор до самых до ворот залился крестьянскими рваными сермягами, потными рубахами, лаптями, грязными платками на девках, изодранными бабьими юбками, — эх, море, неисчерпаемое крестьянское нищее море! И пожелтые опухлые головенки детей сваливаются то на ту, то на другую сторону — шейки не держат.

Затаилось крестьянское море без шапок, ждут барина.

А барин в покоях со всей семьей и понаехавшие провожать помещики слушают молебен — уезжает в Москву. Поп, дьякон, в золоченых ризах, стараются, и блестит солнце на золотом кресте, и согласно поет хор, и пахнет, как в церкви, голубым ладаном.

А у крыльца стоят кареты, коляски и подводы с барским добром, — одной одежи возить — не перевозить. Слышно, запели славословие барину, «многая лета». Потом вышел барин на крыльцо, за ним барыня, вся

в белом, за ней дочки, в белом, за ними сыновья с золотыми воротниками — учатся в таком заведении в Питере, где на министров приготавливают, а рожи хоть молодые, по семнадцати, по восемнадцати годов, да истасканные: с бабами напролет все ночи похабничают да пьянствуют. А за ними — помещики. Вышли поп, дьякон в золоченых ризах, сияют на солнце. Стал поп кропить кареты, лошадей, суетившуюся прислугу.

Барин посмотрел на крестьян. Управляющий подскочил и, заглядывая по-собачьи в глаза, угодливо сказал:

— Провожать вас пришли.

Барин сказал:

— Ну, что, мужички?

А барыня зажала шелковым платочком нос и проговорила:

— Воздух от них тяжелый. Наверное, заразные есть.

Барышни сморщили носики и отвернулись. Барские сыновья в золотых воротниках высматривали ядреных девок и примеривали, как здорово ночку б с ними провести, напоить бы пьяными да...

А барин опять ласково сказал:

— Ну, что, мужички, в чем дело?

Народ, сколько его тут было, повалился на колени, — и заметались над всем двором вой, крики, причитания и неуёмные вековечные бабьи слезы:

— Ба-атюшка!.. родимый, пропада-ем!.. погибель наша...

— По два, по три снопика свезли с поля...

— В амбарах мыши все с голоду передохли, зернышка не найдут...

— Ослобони, отец, хоша скости половину ренты, мочи нету... все одно перемрем...

— Ба-атюшка!..—закричали опять бабы, стучаясь в сухую землю лбами и стучая плачущих детей, над рывно закричали:—Погибаем, спаси нас... в твоих руках... Несмысленыши... головы от голоду не держат... век твоими молитвенниками будем...

Барин сделал знак рукой:

— Постойте, мужички, встаньте с колен: на коленях только перед царем да богом.

— Не подымемя, покеда не помилуешь нас.

— Ну, хорошо. Иван Никанорыч, — и поманил управляющего пальцем, — Иван Никанорыч, сделайте все облегчения, какие можно, у них неурожай. Рассрочьте аренду, скиньте возможно больше.

— Слушаю, — сказал управляющий, подсаживая барина в карету.

А когда подсаживал, барин небрежно шепнул ему:

— Всю аренду взыщите, и в срок.

— Слушаю, — сказал управляющий тоже топотом и захлопнул дверцы кареты.

Карета покатила. Крестьяне, бабы, девки, ребятишки побежали за каретой, и по всей усадьбе и по всему полю покатилося:

— Урррра-а-а!..

А помещики, помещицы стояли на крыльце и махали платочками. И управляющий стоял и сиял на солнце лысиной.

Долго стояли крестьяне на тракту с радостными лицами и смотрели на замирающую вдали пыль.

— Барин-от — он понимает. Как не уродилось, с чево же платить? Теперича хучь передышка будя.

6. КАЗАКИ

Через три дня в деревне все стояло вверх ногами, и шла страшная кутерьма: управляющий с старшиной, с урядником и десятскими ходил по избам и описывал коров, овец, веялки, бороны, самовары, бабьи холсты, всю лишнюю одежду, и носились вой, плач, как будто хоронили всю деревню. Да похоже, что похоронили — деревня стояла голая и убитая.

А ночью занялось зарево за усадьбой, — горели скирды немолоченного баринового хлеба. Согнали всю деревню тушить. Да где тут!—разве затушишь? К утру только черное место осталось.

Через два дня оказались испорченными десять заводских коров. Когда утром работницы пришли доить, у коров не было сисек, лила кровь, — отрезали, а стена коровника была прорезана, с поля забрались, оттого и собаки не учуяли.

Потом через ночь два раза загоралась усадьба.

Тогда пригнали сотню казаков, и приехал следователь по особо важным делам. Пошли допросы, аресты. Крестьяне с тупо-покорными лицами стояли, глядя в землю, и твердили одно:

— Знать — не знаем, ведать — не ведаем.

Их садили в кутузку, кормили селедкой, не давали пить по несколько дней, а они, замученные, осунувшиеся, с провалившимися в ямы глазами, исхудалые, как скелеты, все свое:

— Знать — не знаем, ведать — не ведаем.

Тогда отдано было приказание перепороть всю деревню. Казаки шли от избы к избе, вытаскивали крестьян, клали на землю, один садился на ноги, другой на голову — и пороли до тех пор, пока спина и зад не покрывались кроваво-изорванными лоскутьями. Сначала крестьянин отчаянно кричит и дергается, потом хрипит, потом замолчит и лежит неподвижно под казаками. Тогда его на рогоже относят, кидают за избой и отливают водой. А когда откроет глаза, его спрашивают:

— Кто сжег скирды? Кто попортил коров? Кто поджигал усадьбу?

А крестьянин, еле ворочая коснеющим языком, говорил:

— Ведать не ведаю, знать не знаю.

Пороли и баб. Те верещали, как резаные, извивались выюном, но замолкали скорее крестьян, потому что были слабее, и лежали молча, а плети резали им тело. Но когда очуневались от лившейся на них воды, еле слышно говорили:

— Ве-дать нне ве-дда-ю, знать не ззна-ю.

Перепороли всю деревню, а ничего не добились.

Посоветалось начальство — ничего не могут поделать с крестьянином: уперся, как бык. Тогда прибегли к последнему средству.

Когда маленько позаструпились у крестьян и баб

спины и задницы, согнали всю деревню на площадь к церкви. Вынесли аналой, поставили на земле перед папертью. Вышел поп с причтом. Положил на аналой крест и Евангелие.

А кругом стоят казаки на лошадях; свесились нагайки; за спинами винтовки; мотают головами нетерпеливые кони. Возле попа сбилось начальство, ястребом поглядывает на крестьянское горе. А крестьяне почесывают струпья:

— Слышь, Ванька, драли нас так, а теперича будут пороть с водосвятием.

— А ты читай под плетьюми: «Свят, свят»...

— Ба-аюшки, ды што жа этта будет: надясь всю юбку иссекли, а ноне опять! ды это юбок не на-старчишься.

Поп просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, слегка завернул широкий рукав, взял крест и, высоко держа, громко заговорил, — было слышно по всей площади, полной народа:

— Братие! господь бог наш Иисус Христос в неизреченной милости своей во святом своем Евангелии рече: рабы да повинуются господам своим. Мы — рабы, грешные рабы господа бога нашего Иисуса Христа и помазанника божия, на ком почиет благодать божия — царя-батюшки. Но злой искушитель, извергнувший из рая первородным грехом наших праотцев, не может упокоиться в лютой гордыне своей излобе. И он сомущает нас на адские деяния, на поджоги, на разбой, на уничтожение чужих трудов, а наипаче на неисполнение обязанностей, возложенных на вас самим господом ботом.

Поп говорил и говорил, а крестьяне, бабы крестились, кланялись, точно ветром их клонило, и казалось им — густой туман, не то дым, вековечный дым напал на них, отнимал глаза, уши, волю. А поп все говорил и говорил. Потом высоко поднял крест и вдохновенно провозгласил, точно дух божий его осенил:

— Братие, спокайтесь! спокайтесь перед господом богом нашим Иисусом Христом, перед святым его Евангелием целованием святого животворящего креста его, и он, милосердый, отпустит ваши тяжкие прегрешения, которые неодолимо влекут вас в геенну огненную, где в страшных муках нераскаянные грешники будут вечно кипеть в смоле и вотще взывать о помиловании.

По площади пронеслись испуганные бабы вздохи. Крестьяне повесили победные головушки. Подходили по-очереди к аналою, клали земной поклон, целовали Евангелие и крест, потом повторяли за попом:

— Клянусь перед святым Евангелием и животворящим крестом говорить сущую правду.

Потом затылок в затылок становились к начальству, и оно по-очереди допрашивало. Лица у крестьян и баб замкнулись, сделались тупо-покорными.

— Знать не знаем, ведать не ведаем.

Со злости начальство арестовало на-авось, по указанию управляющего, старшины и урядника, тридцать семь человек и отправило в город, в тюрьму — дожидаться суда.

7. СУДИ МЕНЯ, СУДЬЯ НЕПРАВЕДНЫЙ

Истомились крестьяне, сидя за решеткой; совсем серые стали, скелеты скелетами, кожа да кости, — не узнать, больше года сидели.

Раз загремели железные затворы; стуча прикладами, вошли солдаты и повели в суд.

В суде протянулся длинный стол, покрытый красным. А за столом посередке тучный председатель в мундире, и воротник у него весь в золоте.

«Должно, много денег пошло на воротник, — подумали крестьяне, испуганно глядя на председателя, — дюже уж сурьезный».

А по бокам — судьи. Глянули — да это старшина Шарапоновской волости. Лют. Вся округа его знает. Ражий, с доброго борова, красный, как мясо, глаза маленькие, а у самого мельница в аренде да лавка под железом. Сожрет, за барина постоит, — одного поля ягода, вместе крестьянина сосут.

С тоской отвели глаза. Глянули на другого. Да ведь это предводитель дворянства, друг-приятель барина, в гостях у него постоянно. Добродушный, и бакенбарды у него на две стороны, а и этот с'ест за барина, не иначе, — дворяне. Засосало у крестьян. Эх, праведные судьи!

А тут сбоку такой костлявый, шкелет шкелетом, а сам в мундире. Так этот с первого слова та крестьян опрокинул: и разбойники, и грабители, и смутьяны, и поджигатели. Мурашки по спине поползли. Прокурор.

Ну, крестьянский адвокат ловок, за аналогом стоит да так и сыплет, так и сыплет супротив прокурора. Большую славу себе приобрел на крестьянских делах, славу приобрел, а от нее деньги пошли: все его нарасхват стали брать. В тюрьму к ним все приходил, — не робей, говорит, ребята, доказательств, говорит, никаких нету.

Крестьяне на все вопросы покорно одно отвечали:

— Никак нет. Не могём знать, только мы невиноватые.

А адвокат — ловок, бес! не даром у него черная одежда сзади хвостом — попривел кучу свидетелей, крестьян же, баб из ихней деревни, и доказал: один обвиняемый дома сидел в ночь поджога, и когда портили коров — соседи видели; другой аккурат в это время в земской больнице лежал с вывихнутой ногой, оттуда и удостоверение дали; третий в лесу дрова рубил, по-рубщики удостоверили; четвертый был в городе, сено возил. Крутят злыми головами судьи, насакивает шке-лет, а ничего не могут поделывать,—доказательств-то действительно никаких нет, так и оправдали,—начальство- то впопыхах да в злобе заарестовало не тех, кого надо, невиновных заарестовало. Так и уехали крестьяне.

Приехали да взвыли: избы заколоченные стоят; во дворах, под сараями все чисто, как корова языком слизала: ни лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежды — все продали за недоимку барину, а бабы с ребятишками ушли по-кусочки.

Да и всю деревню разорили дотла — до копеечки взыскали барину аренду, да еще с неустойкой.

А жить надо, а кормиться надо, а арендовать бариную землю надо, а в церковь, что посреди села стояла, ходить надо, а поборы попу давать надо, — и опять потянули вековечный хомут худые, почернелые, полопанные крестьянские шеи.

Эх, жисть!

8. ЧТО Ж ТЫ НАДЕЛАЛА, БАБОНЬКА!

Пришел великий пост. По утрам и по вечерам печально и редко зовет колокол: к на-ам!.. к на-ам!.. к на-ам!..

Это — монастырский колокол. Вон он белеет, монастырь, белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты. Хорошо там живут монахи, ишь, ходят черные — сытые, ядреные. Да и как им сытно не жить — эва, кругом все ихние, монастырские поля; а по речке — ихние, монастырские заливные луга; а за лугами — ихний, монастырский лес. Угодий у монахов, поди, столько же, сколько и у барина.

Крестьянину курицу, скажем — курицу, и ту выпустить некуда.

Ну, как же монахи — сами экую махину земли и обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре, а для молитвы за грехи.

Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоление крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу вырубят; бабы снопы повяжут, и сады

уберут, и холстов монахам наткут, и за коровами, за птицей походят — вот громадное монастырское имение и справлено. За это измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно едят, по кельям и вино попивают.

Опять у монастыря и другой доход. Прогнали крестьяне по монастырской дороге скот — плати. Упустили крестьяне лошадь на монастырскую землю — плати; пошли бабы грибков набрать в монастырский лес — плати. Крестьянин плачет, а монахи радуются — много доходу.

Так и жили с одной стороны деревня, с другой — монастырь.

«К на-ам!.. к на-ам!...»

Идут в монастырь старухи, молодые, бабы, девки, несут ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нужду, несут к богу да к попу, — куда же крестьянину больше и нести? Не к кому во всем свете.

А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то исповедников — страсть!) спрашивает грехи. Ох, много у крестьянина грехов, на воз не заберешь. А поп уже: «Отпускается и разрешается... во имя отца и сына...»

Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под епитрахилью, подробно выспрашивает грехи и ласково и громко именем бога отпускает их.

А бабы и рады. Поп все время — и в проповедях, и на дому с молитвой, и где встретится — всегда гром

ким покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о печи огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.

И видят крестьяне: все несчастья, все горести, все беды, все разорение от грехов; кабы не грехи, жили бы беспечно.

Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен»... А поп и спрашивает:

— Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Затаился хромой и сказал глухим голосом:

— Нет... в этом не грешен, батюшка.

— Отпускается и разрешается... отца и сына...

Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и слышит — шепчут истомленные, истрескавшиеся бабы губы:

— Грешная... грешная... грешная, батюшка.

А поп строго:

— Помни, грех смертный на исповеди перед самым невидимо присутствующим богом укрывать грехи.

И загремел поп божеским гневом:

— Проклятие господне незамолимое на том, кто перед господом не откроет свою грешную душу!

Потом опять говорил ласково и внушительно:

— Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Задрожала баба, от пят до головы задрожала, и чувствует — замерла вся церковь. А церковь всё та же:

одни крестятся, другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу, ждут исповеди, — как было в церкви, так и есть. Стоит баба ни жива, ни мертва. И так рванулось сердце у ней, а вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа, как говорил батюшка, от всякие скверны, и господь оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-несчастья, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой крестьяне и бабы, вздохнут все.

И закапали у бабы слезы, закапали под епитрахилью — замученные вековечные бабы слезы, закапали ей на руки, на аналой, на крест, на Евангелие, а поп к самым губам ухо протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы креста медного, золоченого, не прожгут насквозь до самой до земли!

И прошелестели ее уста:

— Грешен, батюшка... резал, поджигал.

— А еще кто?

— Еще, батюшка, Микитка Ржаной.

— Еще кто?

— Еще Федор Кривой.

— Сколько всех человек?

— Пятнадцать, батюшка, пятнадцать.

— Кто да кто?

— И Иван Косой, и Володька Притыкин, и... — пятнадцать, всех пятнадцать,— пересчитала бабочка,— пятнадцать.

Заспешил поп, засуеился, — исповедников эва сколько ждет.

— ...отпускается и разрешается... то имя отца

Идет бабочка, земли под собою не чувствует: снял батюшка с них грехи, теперь господь оглянется. А в сердце занозина, тонкая занозина—болит сердце. И с чего бы сердцу болеть, коли снял господь грехи?

Через три дня арестовали хромого солдата, и Микиту Ржаного, и Федора Кривого, и всех пятнадцать человек.

9. К БОГУ НА ПОМАЗАНИЕ

Пышно оправлял царь свою коронацию, да как ему не справлять пышно, коли у него один миллион земли, и много миллионов крестьян, надрываясь, пашут ее.

Пышно справляли коронацию помещики-дворяне. Да и как им не справлять ее пышно, — царь ведь среди них первый помещик-дворянин.

Вся Москва была залита огнями. Царь ехал в золотой карете. В нее запрягли двенадцать белых молодых лошадей. Молодые лошади белыми бывают только в одном месте — у арабов в Аравии. Их и привезли оттуда за много тысяч верст и за много тысяч рублей — крестьянская копейка таровата.

За царем двигалось бесчисленное духовенство. Митрополиты, архиереи, попы, дьякона — и все в золотых ризах, с золотыми крестами, осыпанными бриллиантами и драгоценными камнями, — крестьянская копейка таровата. А та головах у них — у одного золотое ведро, у другого — золотой круглый горшок кверху дном,

у третьего — бархатный вареник. И все это осыпано алмазами, разноцветными камнями, — крестьянская копейка таровата. Царь пускает духовенство вперед потому, что оно составляет главную опору власти царя и помещиков над крестьянами. И эта опора была сильнее полиции.

А за духовенством тянулись дорогие кареты, а в них сидели помещики в шитых золотом дворянских мундирах и помещицы в умопомрачительно дорогих платьях, выписанных из-за границы, — крестьяне недаром трудились в поте лица над помещичьими землями. А дальше шли чиновники, полиция, войска — все, на чем держался царь и помещики, и что держалось на одном крестьянине, который кормил их.

10. ПО ВЛАДИМИРКЕ

По Владимирке, которая без конца уходила в туманную даль, далеко растянувшись, шла арестантская партия. Глухо и тяжело звякали цепи на руках и ногах. Скрипели подводы с клажей и больными, сурово шли конвойные, готовые стрелять при малейшей попытке к бегству.

Кучкой идут крестьяне, бородатые и безусые, и позванивают мерно в шаг ручными и ножными кандалами. Один прихрамывает на ногу. Держатся друг к дружке, — пятнадцать их.

И одна у них дума о далекой-далекой деревне, — никогда уже, никогда ее не видать.

...Горя реченька,
горя реченька бездонная...

Идут, мерно позванивая, и не вспоминают барина. Не знают и не чувят, что и баринов черед все ближе и ближе, черед его аренде, его усадьбе, трехтысячной земле, его сладкой, беспечальной жизни — не знают горюны.

И идут, и идут днями, неделями, месяцами, и тысячи верст идет с ними кандалный звон и в жар, и в дождь, и в мороз, и в слякоть, кандалный звон, в далекую мерзлую Сибирь, в мертвую каторгу.

...Горя реченька бездонная...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАБАСТОВКИ

I. БРОДИТ ТРЕВОГА

Снаружи подумаешь: как было на фабрике, так и есть, ничего не переменялось. Так же трясутся стены корпусов и несется все заглушающий грохот; быстрыми клубами вываливается из черных труб фабричный дым; у ворот строго сидят сторожа, обыскивают всех выходящих. А присмотришься: тревожно и беспокойно внутри на фабрике, то-и-дело останавливаются станки, бегут вхолостую ремни; ткачи и ткачихи собираются в проходах, горят глаза, вскидываются кулаки — грозят кому-то злобно. А мастера, как цепные хозяйские псы, подняв собачьи уши, разгоняют собирающиеся кучки, примечая тех, около кого больше собираются. Разгонят в одном месте, — глянь, а уж собрались в десяти других.

Но особенно много собирается неурочно народу по нужникам. Накурено—не продыхнешь, теснота — друг на дружке, как сельди, и за надобностью никому не позволяют, а все стоят плечо в плечо и не спускают глаз с нового человека. И как он пролез на фабрику? Должно быть, свои ребята провели. Влез на вонючий

стульчак и оттуда вычитывает по листку. И воникто не слышит, все впились в читающий рот.

И о чем он читает? Да все о том же, что известно, переизвестно, что каждый день на своей шкуре все испытывают, как будто вековые раны кто солью посыпал. Вычитывает в листке, а ткачи ревом подхватывают:

— Верно... правильно... Так замучились, нет числа...

Горят глаза, поворачиваются друг к другу, мотают кулаками, разгорается сердце у ткачей: есть кто-то в городе, кто прячется, от полиции, от жандармов, от шпионов и печатает эти листки, и, как береста в огне, вспыхивают от них замученные сердца.

А мастер уж тут, как тут — выгоняет, записывает штрафы.

Ходит беспокойство по всем корпусам, а снаружи и не подумаешь. Как год, как два, как десять лет назад трясутся и грохочут почернелые корпуса, то-ропливо вываливаются из высоких труб черные клубы, подводы за подводами вывозят тюки свежего товара и привозят хлопок, и его без перерыва пожирают ненасытные трясущиеся многоэтажные корпуса, откуда несмолкаемо несется грохот.

Ходит тревога, ходит беспокойство.

II. НА СПАЛЬНЯХ

Престольный праздник.

Угрюмо сечет дождь темно-кирпичные казармы. А внутри холодно, голодно, тревожно. Бабы с заму-

ченными лицами, с ввалившимися глазами ходят, как волчицы, кожа да кости. У рабочих то же — краше в гроб кладут, испитые, с прозеленью, и морщины, а еще молодые.

Как и у всех, у ткача Ивана Вязалкина в каморке голодно, неудобно. Татьяна, баба его, тоже ткачиха, злая, замученная, кости торчат. Кричит на ребятишек:

— У-у, ироды проклятые! Ну, чего вам?.. Кофеев да чаев вам... Не натрескались? Только б жрать с утра до ночи...

Мальчик и девочка, подростки, сидят на скамье, глядят на нее огромными глазами, ничего не говорят, а мать слышит:

— Мамм, поисть бы...

Тогда баба оборачивается и кричит иступленно на стариков:

— Вы еще тут, старое дерьмо, навязались, смерти на вас нету. Отжили век, ну, пора и честь знать!

Старики — отец Татьяны и мать Ивана — покорно моргают красными облезлыми веками, затуманенно глядя перед собой, — забыли радость, забыли ласку, тепло, свет: да и было ли это когда-нибудь?..

А баба уж к мужу:

— А ты, идол... вот навязался на мою душу грешную... чем бы о семье подумать, а он бунтует фабрику, окаянный! Ты мне, Мишка, ежели от отца будешь бегать с листочками, голову оторву! Знаешь, за эти листочки жандармы зараз в тюрьму. Тут осень, зима идет, ни одежи, ни обужи, надо дров запасть, дети голые. Мишутку али так и не сдадим в училище? Ды, го-

ловушка ты моя бедная... ды зачем ты меня, матушка, ды на свет породила... ды разнесчастная-я... о-о-о... ой-ей-ей...

— Цыц, т-ты, сстерва!..

Стукнул волосатым кулаком по столу — стол затрещал.

— Развылась, покою от нее нету. Давай суды гривенник, давай те говорят, а то две половинки из те сделаю.

— Не дам... не дд-а-ам... ой, не да-а-ам... карау-ул...

Закричали дети. Завозились старики.

Дверь распахнулась, на пороге — дьякон с дымящимся кадилом

— Что у вас тут за штурма? Али оголтели... У людей престольный праздник, а у них драка. Принимайте батюшку!

— Ох, ты, окаянные мы... да што это мы...

Татьяна быстро поправила растрепавшиеся волосы и кинулась затепливать прилепленный к закопченной доске в углу восковой огарок. Иван обдернул рубаху.

Вошел поп и, не здороваясь, ни на кого не глянув, замахал кадилом:

— Благослове-ен господь...

Дьякон закозлил. Татьяна кинулась на колени и со слезами больно давила себя тремя пальцами в лоб, в тощий живот и в каждое плечо, иступленно глядя на мерцающий огарок. Не успела она рассказать черной доске свое неизбынное горе, а уж поп:

— ...во имя отца... аминь, — и ткнул каждому в зубы тяжелый холодный крест.

Татьяна набожно приложила иссохшие губы к холодной, вызолоченной меди и положила в руку попу два пятака. Да вдруг не выдержала и зарыдала:

— Батюшка, мочи нашей нету... замучились... голодные, холодные, с ранней зари до поздней ноченьки за станком, а принесешь получку, глядеть не на што...

— Господь терпел и нам велел. Сказано убо: не пещитесь о земном, ибо господь наш уготовал вам небесное... Нет пред господом больше вины, как ропот. Терпите и дастся вам.

И пошел по другим каморкам.

III. СТОЛ ЛОМИТСЯ

У хозяина фабрики тоже встречали престольный праздник.

В громадной столовой протянулся огромный стол. И чего только тут нет: и заморские вина, и фрукты, и сладости, и закуски, и блюда, каких не выдумаешь.

Хозяйка белотелая в дорогом платье из Парижа, со множеством сверкающих бриллиантами колец на руках и по сие место голая.

И дочка голая, а сама вся сверкает бриллиантами: и булавки бриллиантовые, и застёжки бриллиантовые, и гребни в волосах бриллиантовые, и брошки бриллиантовые — так вся и сверкает на свету, так вся и играет переливающимся блеском.

У папаши — фабрикантское брюшко, и по брюху — собачья толстая золотая цепь.

Гости: директор фабрики с дочкой, несколько инженеров, соседние фабриканты с женами и жандармский офицер. Не приступали к еде, ждали священника.

Пришел и поп в шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди. После рабочих он принял ванну, побрызгался одеколоном и теперь с преданно-собачьим лицом именем Христа благословил, простерши холеные руки, благословил яства и питья. Все шумно стали усаживаться, и усаживаться в известном порядке: во главе стола хозяйка, хозяин и дочка, фабриканты, а в конце — директор фабрики с дочкой, и у обоих умиленные лица, на которых готовность каждую минуту вскочить, подать стул, поднять хозяйский платок. Посреди стола поп с жандармом и скромно — фабричные инженеры.

Началось разливанное море — не успевали стоявшие за стульями лакеи наливать в бокалы пенистое вино. Гремел оркестр музыки.

— Да, беспокойно у нас среди рабочих, — проговорил поп, — распустился народ, ропщет, храм божий мало посещают. Особенно во второй казарме и в пятнадцатой камерке молодой парень, Осипов, весьма беспокойный, такие речи говорит...

— Это — высокий, рыжий, — предупредительно наклонясь, сказал директор.

— Да, высокий такой, смущает народ.

Жандарм мотает на ус, по-собачьи наставив уши. Всю ночь светился огнями фабрикантский дворец.

IV . К Р О В Ъ

Не узнать фабричных корпусов — не слышно всегдашнего гула, не дымят высокие трубы. По каморкам шныряют рабочие, да вдруг пронеслось по воем коридорам :

— Выходи, ребята, во двор... Пошли... Ге-э-ей, все.

И повалила черная толпа — женщины, дети, старики, молодые и бородатые рабочие, весь двор фабричный запрудили.

Прибежал директор со злобно перекошенным лицом, заорал, затопал, но толпа с ревом надвинулась на него, он сразу осел и заговорил с собачьей ласковостью :

— Товарищи рабочие...

— Кобель тебе товарищ..

— Кровосос...

— Долой...

— Уходи, пока цел...

— Хозяина сюда...

— Освободить Осипова. За что вы его арестовали?..

— Пока не освободите, не станем на работу.

— Мочи нашей нету, все одно пропадать ..

— Расценки увеличить.

— Штрафы скостить.

— Обращаться с нами как с людьми, не как с животною...

Стоял визг, шум, крики. Прижатый директор исчез. Замелькала полиция, синий мундир жандарма. И грозно и тяжко подошла серым строем рота.

Рабочие подняли на руки человека, чтоб видней и слышней его было, и он, натружая голос, кричал:

— Товарищи солдаты! Неужто вы будете стрелять в своих братьев? Ведь вы такие же труженики, как мы. Мы только одного хотим — заработанного куска хлеба, человеческой жисти, да чтоб ребята наши, как щенята, не дохли с голоду. Фабриканты жиреют нашей кровью...

— Ве-ер-но-оо!.. — взрывом заревели ткачи

И куда ни глянешь, открытые чернеющие кричащие рты, как лес, мотаются поднятые кулаки, и во все стороны только картузы, кепки, да платочки, да, как белая бумага, под ними истомленные бабьи лица, и, как разгорающееся зарево, тронул их горячечный румянец гнева, отчаяния, непотухающей злобы.

Офицер вынул саблю, крикнул:

— Вся власть передана мне, как представителю воинской части. Требую немедленно прекратить агитаторские речи и разойтись! В противном случае будет дана команда к стрельбе.

Негодующий шум покрыл двор корпуса..

— Кровососы...

— Ироды...

Из-за рядов вывернулся поп и, придерживая широкий рукав, пошел к толпе, высоко держа крест.

— Братие, во имя господа нашего Иисуса Христа молю вас утишить ваши сердца. Помните веление господа нашего Иисуса Христа, сына божия: властям предержащим да повинуются. Зачем же вы идете супротив

воли царя небесного, который уготовал вам награду во царствие своем; тут потерпите, а на небеси вам воздастся сторицею. Вот все говорите о хлебе, а Иисус Христос, сын бога живого, рече: не единым бо хлебом жив человек. И еще сказал нам господь Иисус Христос: кесарево кесареви, а божие богови, — значит, каждому свое. Вам господь послал вашу долю, вы несите ее с кротостью и терпением и за это получите награду у господина под кущею райскою, хозяину вашему господь послал его долю, он ее должен нести...

— Пошел...

— Вон...

— Проваливай, долгогривый жеребец.

— Все вы одна шайка... все вы заодно.

Поп спрятал крест и, согнувшись, нырнул за солдатскую шеренгу.

Офицер скомандовал:

— Пря-мо по толпе пачками!..

Взвыло бушующее море голосов.

— В своих?! В своих!..

— Нате... жрите человечину...—исступленно закричала высокая костлявая, распатлатившаяся ткачиха и разорвала на тощей груди рубаху, а на нее глядели винтовки, — жрите!..

А тот человек опять:

— Солдаты, или братьев и сестер своих, кровных своих будете расстреливать в угоду фабри...

Сабля, блеснув, опустилась, и огненно брызнула команда:

— Пли...

Никто не слышал залпа, видели только, как повалились, вскидывая руками, люди; повалился Иван Вязкин, без крика повалилась ткачиха с разорванной на груди рубахой; быстро стала кроваветь земля под лежавшими в уродливых позах.

Через час поп в черном, полосатом от белых позументов, расходящемся книзу балахоне с белым крестом на заднице мотал кадилом над длинным рядом мертвецов, аккуратно лежавших вдоль стены со сложенными руками и закрытыми веками; запекшаяся кровь была смыта.

— Со-о свя-ты-ы-ми у-у-по-ко-о-ой...

V. МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

Как всегда, дымятся трубы, трясутся, гудят корпуса; в привычном хомуте напряженно следят за мелькающей основой ткачи, и бледно-зелены их лица, и в черных ямах померкшие глаза, — все как было.

Только в доме фабриканта по-новому: прибавилось заботы. Вся семья в сборе. Хозяйка сидит за столом и составляет список пострадавших семей — добрая душа. Дочка хозяйская вместе с дочкой директора шьют распашонки для маленьких сирот и весело щебечут с кавалерами.

— В семье Вязкина, — читает по списку фабрикантша, — нет самого. Остались: жена Татьяна, вполне трудоспособная, сын двенадцати лет, дочь шестнадцати, старик и старуха. Ну, как с ними?

Фабрикант поиграл брелюком у часов, поглядел в окно, слегка зевнул и сказал:

— Вязалкину опять можно поставить к станку, хоть и строптивая баба. Старика — в сторожа, он еще может работать. Старуху — в богадельню. А мальчишку пусть уж мать содержит. Да и дочь, она уж большая, ее тоже можно к станку.

Молодой человек, сын фабриканта, вслушался и сказал:

— Маман, вы возьмите девочку третьей горничной, вот и семья обеспечена.

— Милый мой Жорж, какое же у тебя доброе сердце, — фабрикантша притянула сына за голову и поцеловала в надушенный пробор.

Пришел поп. Тоже стал помогать советами, как кому помочь.

— Истинно говорю вам, доброта ваша и отзывчивость безграничны; у господ милости неизреченные, и он ниспосылает вам дары свои.

VI. ВЕСНА

Пришла весна. По свежим могилкам побежала мелкая травка. Птицы разорались. Небо было высокое и синее, и без усталости всех обливало солнце сверкающим теплом.

Все так же, как и всегда, дышали закопченные трубы и гудели и тряслись фабричные корпуса от тысяч мотавшихся в них станков — без усталости.

Так же за станками качались, наклонялись землистые с прозеленью лица, — с зорькой становились на

работу, к вечеру расползались по казармам, очумелые от усталости. Все, как было. Как будто не было залпа, как будто не лежали мертвецы длинным рядом вдоль стены, как будто всосалась, ушла в землю пролитая человеческая кровь, потушила собою возгоревшийся пожар ненависти, отчаяния, борьбы.

Потушила? Нет. Гудят и гремят станки, неуловимо снуют челноки, как сухой туман, виснет никогда не падающая пыль: качаются землистые лица, и невидимо, незримо тлеют искорки глубоко запрятанной готовности борьбы. Незримо, невидимо тлеет искорка, ибо не залить ее даже дымящейся человеческой кровью.

Татьяна Вязалкина, как и все, качается, наклоняется над станком зеленовато-землистым лицом, как и все, покорно выслушивает матерную брань мастера, а когда улучит минуту, юркнет в отхожее и, оглянувшись, торопливо наклеивает на стенке листочек, либо где-нибудь в проходе, либо на лестнице, и как ни в чем не бывало — опять у грохочущего станка.

А у листов толпится народ, читают, вытянув шею, и уходят к станкам и уносят в сердцах незатухающую ненависть к рабьей жизни, искру готовности к борьбе.

Белые листочки, которые расклеивает Татьяна Вязалкина, — есть в городе кто-то, кто их составляет, кто болеет о рабочей нужде, кого ловят и все никак не переловят ни полиция, ни жандармы, ни шпионы. И разглаживаются слегка морщины на угрюмых лицах рабочих. Еще будет бой!

Раз пришли, гремя шашками и стуча об асфальт прикладами:

— Татьяна Вязалкина!

Она подняла землистое лицо от станка, землистое лицо, освещенное жгучей ненавистью непрощающих глаз.

Окружили, повели. Ткачи бросили станки, гурьбой выливали во двор, на улицу.

— Не дадим, стой!.. За што берете?..

Грозно и тяжело нарастала волна, неожиданно, нежданно по корпусам. Вдруг родился страх: забегали мастера, зазвонили телефоны, поскакал верховой от хозяина в полицию, в жандармское управление. Не пожар ли, не пробилось ли тлеющее пламя?

Женщина в рваном платке, с испитым лицом, с горящими ненавистью глазами шла, и колыхались вокруг штыки, поблескивали шашки. Когда на углу заступила дорогу толпа, женщина сказала:

— Слышите, ребята, не трожьте, от меня одной не убудет. Хоть и перебьете этих эфиопов, никаких толков не будет. А вы лучше стачку сготовьте... Не поддавайтесь... Наваливайтесь на хозяев. Прощайте.

— Не забудем тебя, Митревна, прощай! Мы свое возьмем, навалимся на иродов. Еще свидимся!

И пошла она, густо окруженная штыками. Поблескивали шашки.

VII. СУД

— ...по указу его императорского величества.. — Голос у него был привычно громкий, уверенный.

Те, кто только что вошел в зал суда, осторожно сели среди ожидающих своей очереди и стали слушать хвост заканчивающегося дела.

— ...я, судья пятого участка, постановил: жену рабочего завода «Глушков и Сыновья» Анну Павловну Железнову выселить в трехдневный срок из занимаемого ею, ее мужам и детьми подвала в доме № 25 по Большой Дворянской улице за неплатеж домовладельцу, купцу Битюгову, квартирных денег в сумме семи рублей пятидесяти копеек. Судебные издержки возложить на Железнову.

— Господи, ды видь мой-то второй месяц без памяти лежит весь в огне, куды жи нам, на улицу?.. — отчаянно заголосила женщина с испитым, до смерти замученным, белым, как мел, лицом. — Дети-то чем же виноваты?..

Нет, не закричала, а шла среди сидевшей публики к выходу, молча шла, вытянув худую шею, одного с завалившейся через руку головенкой несла, двое других — один поменьше, другой побольше — со струпьями на замазанных лицах, посверкивая под носом живыми серьгами, волочились, оттягивая юбку.

Шла молча, с безумно вытянутой шеей, как между каменных громад, и ничем их не сдвинуть, их не стронуть, оттого, что все, сколько тут нисидело людей, все (и она сама), все твердо думали, что, если кто не платит квартирных денег домовладельцу, надо того, выселить, и в этом закон, и в законе справедливость.

А судья с золотой цепью на шее сказал:—Введите подсудимого Вязалкина.

Ввели подростка с землистым тюремным лицом.

И отчего у них землистые лица?

— Ваша фамилия?

— Вязалкин.

— Сколько вам лет?

— Шешнаццать.

— Ишь, шешнаццать лет, а уж в тюрьму попал, — зашуршало среди публики, и неодобрительно заколебались перья на дамских шляпах, закачались жирные головы купцов, и торговки сложили губы кошелечком.

— Свидетели явились?

— Все явились.

Вышла к судейскому столу покупательница с гадючьей шеей, а под шеей кружева и бриллиантовая брошка, и рабочий-пекарь с бледным одутловатым в муке лицом и исчерна-гнилыми пекарскими зубами.

— Батюшка, приведите свидетелей к присяге.

Поп привычно-размашистым движением просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, поднял зажатый в руке крест, а глаза к потолку, который был закопчен и засижен мухами. Все встали.

Голосом, в который вросла глубокая уверенность, что он, поп, огромная глыба в той громаде, которая каменно давит всех, кто судорожно дергается, кто хоть малейшее движение делает, чтобы выбиться из каменных стен, поп, глубоко чувствуя силу своего колдовства, заговорил высоко, отчетливо, вдохновенно, а свидетели, подняв сложенные двуперстия, поклоняясь этой силе, повторяли:

— Обещаюсь и клянусь всемогущим богом перед святым его Евангелием и животворящим крестом его, что, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ниже иными

какими-либо видами, покажу в сем деле сущую о нем правду. Аминь.

Поп так же привычно и быстро расседлался, завернул в епитрахиль крест, свое оружие оглушения, к которому приложились свидетели, и торопливо ушел — отзвонил и с колокольной долой.

— Подсудимый Вязалкин, вы обвиняетесь в том, что тайно похитили булку из булочной купца Авдеева. Признаете ли себя виновным?

Мальчик молчал, глядя перед собой. Как и перед женщиной с тремя детьми, перед ним — стол, покрытый красным сукном, зеркало¹⁾, здоровенная позолоченная цепь на судейской толстой шее, зал, наполненный публикой, решетка, и за решеткой — он, Вязалкин. И казалось ему, сидит он среди узко протянувшихся стен, которые давят его со всех сторон, и никуда не увернешься, никуда не вылезешь.

Он сидел и молчал.

— Ишь, гад какой, упорный, как кремень,— сказал купец, нагибаясь к домовладельцу.

Стала показывать свидетельница и, ныряя гадючьей шеей перед судьей, шипела:

— Видно, что испорченный до мозга костей человек. Не попросил, как другие просят, а хитро и долго осматривался, — а я стою, наблюдаю, что будет дальше, пирожных к чаю брала, брат двоюродный с женой приехали, у них заведение фруктовых вод, так я взяла

¹⁾ Зерцало — небольшой трехгранный, покрытый сусальным золотом ящик, на котором написаны буржуазные законы и который ставится на судейском столе.

пирожных, а он опять огляделся, и все у кассы стоял, видно, денег хотел стащить, да народу много было — никак нельзя; вот подошел к коробу, опять оглянулся, одной рукой стал сморкаться, а другую незаметно опустил в короб, вытащил булочку и под тряпье. А я как закричу: «Держите вора, держите!» — и вцепилась в него, чтобы он не убежал, даже пирожное помяла.

— Сладу нету с этими ворами. Ведь этак и разорить могут, — вздохом пронеслось в публике.

— Очень просто, — громким шопотом поддержали и купец, и домовладелец, и хозяин мельницы.

Вызвали второго свидетеля, рабочего-пекаря.

— Оно верно, — сказал тот, показывая черно-гнилые зубы, с'еденные мукой, которой он постоянно дышал, — взял он, только это — лом у нас, сушь сыпаем почем зря в короб, ее вон нищим раздают, она и копейки не стоит.

— Садитесь, свидетель.

— Ну, это тебе даром не пройдет, — шипящим шопотом пронеслось в зале, — сегодня же сгонют с места. Обормот...

— Что вы можете сказать, подсудимый, в свое оправдание?

Мальчик молчал, все так же стоя понурившись.

Судья подождал, потом стал писать протокол.

Мальчик, чувствуя, что уползает последняя минута, выдавил из себя:

— Два дня не ел...

Постояло молчание.

Судья поднялся. Все встали.

— По указу его императорского величества... сын рабочего, Павел Вязалкин, присуждается к тюремному заключению сроком на шесть месяцев, без зачета предварительного заключения.

Судья снял цепь и ушел. Публика стала выливаться из зала.

— Ничего, пускай посидит!

В пустом зале стоял тяжелый воздух. В углу висела большая икона Христа спасителя.

VIII. ВОН

В доме фабриканта во всех комнатах одуряющими запахами млели великолепные цветы. На балкон и в сад были настежь открыты стеклянные двери.

Фабрикантша, в кисейном платье, с белыми от пудры набегающими на шее складками, строго и холодно говорила стоявшей перед ней с помертвелым лицом молоденькой девушке:

— Как не стыдно так отблагодарить за благодеяния... Ведь что с тобой было бы, если бы мы не взяли в дом. Тут сыта, одета, жалованье, нет — мало ей,— она еще потаскушничать вздумала. Какая грязь, какая низость, неблагодарность!

— Вся семья такая, — сказал фабрикант. — Отца во время стачки пришлось застрелить, а ведь я его двадцать восемь лет держал на фабрике, так в благодарность стачку вздумал устраивать. Жену его, Татьяну, пожалел, опять поставил на станок, — первые месяцы вела себя тихо, а потом в агитацию пустилась, стала

мутить рабочих, листки возмутительнейшего содержания стала распространять, пришлось жандарму сказать, в тюрьму отвели. После нее мальчишка пустился в воровство — в булочной украл французскую булку, — ну, арестован. Старик оказался лентяй, пришлось прогнать из сторожей. Теперь эта.

Фабрикант, задумчиво глядя на веранду, заставленную тропическими растениями, закурил душистую сигару и пошел в сад.

Фабрикантша взглянула на девушку, все так же стоявшую с поникшей головой.

— Ведь пойми ты, скверная девчонка, ты таскалась там, бог знает где, могла всяких болезней натащить в дом. Фу, мерзость!

— Я, барыня, никуда не выходила, со Стешей всегда спала, — она скажет, спросите, как пред богом... Это — они...

— Кто? Кто «они»?

«Уж не муж ли?» — судорогой передернуло фабрикантшу.

— О... ни... ни...—девушка все ниже, ниже клонила голову, слезы часто капали на руки, на передник.— Ге... Георгий Михайлович... Я с Стешей спала, а он... ни Стешу выгнали... я мо... лила, руки целовала... в но... гах валя... лась, — она захлебнулась.

У фабрикантши отлегло. Она сдержанно улыbnулась.— Ну, милая, пеняй на себя, Жоржик молодой человек, естественно в его годы увлечение, — ты уж сама себя должна была соблюдать. Во всяком случае, ты должна оставить наш дом, здесь не родильный приют.

IX. ПОД КРАСНЫМ ФОНАРЕМ

Все как было: катились по ушицам экипажи, текли толпы народа, плыл колокольный звон; из церквей выходили разодетые барыни, купчихи, чиновники, девушки; на паперти стояли, протягивая руки, нищие; на окраинах дымили трубы фабрики, за бесчисленным множеством станков, ни на минуту не ослабляя напряжения, стояли люди с землистыми лицами; из заводских печей вырывался пожирающий жар, — все, как было, люди думали — так и должно быть вечно.

И по ночам, когда по улицам, в домах, в театрах загоралось живым золотом электричество, тоже как было: в великолепных ресторанах об'едались и опивались великолепно одетые люди; в кабаках заливали глотку замученные, в отрепьях.

На одной из улиц, в доме с красным фонарем над под'ездом тоже, как и раньше, несутся разухабистые звуки хриплого рояля, раскрашенные полуголые женщины с наглыми лицами, на которых —отчаяние.

И среди них странно видеть молоденькую девушку с поразительно милым лицом, на котором, как и у всех, вызывающая пьяная наглость. Гости берут ее нарасхват, толпятся около нее, а она, бесстыдно подняв юбку, пляшет и пинает попадающихся на дороге голый ногой. Пьяные жеребцы ржут, заглушая рояль.

А еще утром сегодня эта девушка, со смытыми румянами, скромно причесанная, горько плакала, стоя на коленях и иступленно крестясь на золоченый крест, который поп держал в руке: хозяйка пригласила причт

отслужить молебен в годовщину основания бардака. Дьякон, сотрясая позванивающие на люстре хрустальные подвески, возглашал многолетие хозяйке «дома сего».

Поп дал приложиться к кресту хозяйке, гостям и толпе женщин и с удивлением посмотрел на рыдающую на коленях девушку.

«Экий огурчик»... — подумал он греховно, а вслух сказал благочестиво:

— О чем, дочь моя, рыдания твои и плач? Если грехи давят душу твою, откройся господу, господь милосерд и в милосердии своем прощает грешникам.

А та, захлебываясь и не подымаясь с колен:

— Ба...тюшка, пропадаю я... не хочу я тут быть... отца моего застрелили... мать в тюрьме держут, а она разве виновата, — сама мучится по отце, да как глянет кругом, такие же, как она, замученные, не стерпела...

— И что? — нахмурил поп брови.

— Стала раздавать листочки рабочим...

— Э-э, вон оно что! Ну, так они господом прокляты. И помни: грехи родителей на детях их. Одно тебе спасенье — в милосердии господа бога нашего Иисуса Христа... Ему молиться, его просить о прощении грехов. А ты носи уготованное тебе, слушайся хозяйку и наипаче проводи время в бдении, посте и молитве..

— Батюшка, пожалуйста, к столу, — сказала хозяйка, кладя ему в руку четвертной билет.

Поп подошел к громадному заставленному закусками и винами столу, подобрал одной рукой широкий рукав, другой высоко осенил:

— Во имя отца и сына... аминь.

ГРАФ СТРОГАНОВ И РАБОЧИЙ ДЕМИД

Сыздавна в ложине среди гор завод на Урале дымил. Работали в нем, как быки, глядя в землю, по 13, по 15, по 18 часов в сутки. И не знали ни отдыха, ни сроку. Не знали, что есть Москва, Питер, что там тоже дымятся трубы заводов и работают, не покладая рук.

Знать-то, конечно, знали, но думали, что это так же чуждо им, далеко, как на том свете.

А что в других государствах на таких же почернелых заводах копошатся мозолистые люди, так эго и в голову не приходило — никогда не думалось об этом.

Начинали говорить о хитрой англичанке, о Китае, который — брат чорту, о турках, о французах только, когда царь сгонял на войну. Тогда надевали мундиры, брали винтовки и уходили убивать незнаемых людей, застилая трупами землю. А незнакомые люди их тоже убивали, заваливая землю.

Так жизнь тяжело, медленно переваливалась. Такой жизнью жил и Демир Векшин. Здоровенный был парень — пермский медведь. Получал

в обреш — только-только жить. Ходил грязно,

в лохмотьях. И об одном только думал Демид: так про-работать, чтобы заслужить к старости пенсию, — видал он стариков, которые издыхали под плетнями, как..

Хорошо жил граф Строганов — благородно, чисто и по-ученому. Палаты-то были — и царю не вскинется.

Когда, бывало, пиры задавал,—а задавал он их, почитай, каждый день, — чего-чего только ни было на блистающем серебром и хрусталем столе, разве что птичьего молока, да и то, говорят, было.

Сядут вокруг стола гости в шелках, в кружевах, в бархатах. А перед каждым прибор, а на приборе для каждого золотой подарок в несколько десятков тысяч рублей.

А попы и архиереи в шелковых рясах, с сыпанными бриллиантами крестами, благословляют питья и яства, чтобы легче проходило в утробу.

Когда наедятся, напьются до отвала, тут подходят писатели и поэты и, вдохновенно декламируя, почесывают своими стихами блаженно вытянутые шеи гостей.

А адвокаты проворными медовыми языками липко облизывают и славословят хозяина и гостей.

А певицы, голые по сие место, и певцы во фраках и белоснежных манишках, с поношенными лицами, сладко поют.

Гости млеют, задремывая, а попы, писатели, поэты, актеры, ученые, певцы, адвокаты весело, сладко до-едают об'едки.

Знаменитейшие доктора наготове, чтоб помочь хозяину и гостям на случай, если об'елись, и как чуть чего — сейчас ставят клистир.

Так жил граф Строганов.

Женился Демид. Пошли дети. Жена и дети так же, как и он, ходили во вшах и лохмотьях.

А тут пришло горе. За пятнадцать лет прогулял он один день, и за этот прогул вычли из срока на пенсию все его пятнадцать лет. Хлопнул об полы руками, избил жену, разогнал детей, да никуда не денешься, — опять запрёгся в хомут, опять потянул лямку на тридцать лет, чтобы под старость не сдохнуть под плетнем.

Да оно и то сказать, до старости мало кто и доживал — все раньше сдыхали: лет тридцать пять — сорок стукнет, и протягивай ноги, — завод шутить не любит.

Впрочем, податься некуда, кругом Демида стеной стояли урядник, становой, пристав, исправник, губернатор.

А за ними стояла шеренгой рота, а за ней мотали головами лошади казачьей сотни и виднелись свисшие с рук нагайки.

А за ними стоял кулак Афиноген Иванович, у которого Демид был вечно по уши в долгах.

А над ними, над всеми чернел поп. От этого уж никуда не скроешься, не убежишь, не увернешься. Родишься — он тут как тут. Помер — он провожает. Полюбил девушку — поп лапу протягивает: поколдовал — давай деньги. Ребенок родился — давай. Все мысли торопливо тенетами опутывает, как черный паук — то раем манит, то адом грозит.

Так туго, так туго Демиду, что и не сказать. Да привык, тянет лямку, нагнув голову, глядя в землю.

Но заводские ребята иной раз на шумят, забунтуют, выбьют окна в конторе, а то и к директорскому дому подступят.

Демид, нагнувшись, тянет лямку, не прерывая, и рычит по-медвежьи:

— Ну, чего распрядались! Все одно один конец: пригонят казаков и всыплют. А тут тянешь-тянешь, хочь бы дотянуть до пенсии.

И верно: приходят казаки и всыпят всласть. И опять все, как быки, тянут постылую жизнь, глядя в землю.

Раз только граф Строганов заглянул на свой завод, все по заграницам ездил, а заводом правили директор и управляющий. Но раз собрался и приехал с губернатором.

Батюшки! Как засуетились на заводе. Вскребли, вычистили, посыпали песком. Рабочим велели надеть чистые рубахи и головы причесать и примазать салом.

Чистые-то чистые надели, да они сейчас же хлюща хлющей от пота обвисли, а сало потекло с волос, — жарища на заводе.

Демид, замирая, ждал графа. Вот приедет, скажет: воротить ему пятнадцать годов в счет пенсии, за совесть работал.

Граф вошел было на минутку с губернатором и, морщась, сейчас же вышел и уехал, — очень уж жара и вонь.

— Улыбнулись мои пятнадцать годов!

И опять пошли год за годом. Двадцать пять лет отбарабанил сызнова на пенсию. Осталось пяток годков. — «Как-нибудь дотяну».

А старость тут, как тут, — она и медведя сломит. Ноги слабей стали. Тяжело нес тигель с расплавленным металлом, споткнулся, плеснуло светящейся жижей и выжгло всю грудь и живот.

Стал на его место старший сын, — и опять то же, опять потянулись сумрачные годы.

Впрочем, не то же. Как-то весной, когда зазеленели горы и завод стал дымить в голубое небо, случилось происшествие. Еще только покраснелась меж горами зорька, повалил народ к заводским воротам, а над воротами красным пятном бил в глаза развевавшийся красный флаг.

Батюшки! как забегала полиция. Урядник на взмыленной лошади прискакал. Вызвали сотню казаков.

Да нет, что-то упустили, — незнаемый дотоле шорох побежал по всему заводу, как в потревоженном муравейнике. Только отвернешься — то тут, то там кучка рабочих, и о чем-то у них о своем говор идет.

Да это не страшно. Что может сделать кучка чумазных, почернелых, полуголодных рабочих.

А вот страшно: завод, дымивший, сколько помнят, глубоко в ложине, выперло на самую гору, и открылись, сколько глаз хватает, другие заводы за сотни, за тысячи верст. Даже Москва замаячила, даже Питер в туманной дали обозначился. И все трубы, и все дымят.

И сын Демида нет-нет да и оторвется от каторжной работы, и случалось это большей частью весной, когда зазеленеет земля; оторвется и глянет через поля, горы, леса и увидит:

без числа дымятся трубы. Ухмыльнется и скажет:

— А ведь это все — наши; сила их!

Прошло лето. Пришла и прошла зима. Зазеленела весна, и опять вспыхнули красные пятна, — удивился сын Демида, — вспыхнули по всему лицу земли. Присмотрелся, видит: за Москвой, за Питером, за краем нашей земли, в чужих краях и землях, за морями, за океанами, — везде, везде, где только дымятся заводские трубы, везде закровавились флаги. — Рать неисчислимая.

Э-эх!.. Да оступился сын Демида, попал в турбину, измолотило его и выбросило красный кусище мяса с обрывками одежды.

Пришла старуха за сына, за мужа просить пенсию. Вместе их работа была шестьдесят два года. Голова у старухи трясется, сама от ветра качается. Полезли в конторе в книги, щелкнули счетами, выдали ей пенсии рубль семьдесят пять копеек на год.

Поклонилась, взяла и ушла, тряся головой. А старшего сына заступил младший — Иван.

Хорошо живет граф Строганов: по-прежнему льется толстым жгутом золото из далекого завода в емкий графский карман, по-прежнему задает он пиры, и чешут вытянутую шею стихами поэты, и разносят в драгоценных бокалах птичье молоко.

А морщинка на благородном графском лбу прибавилась. Призывает он ученых и профессоров и говорит:

— Не то страшно, что на моем заводе краснеет каждую весну флаг, а то страшно, что каждую весну краснеют флаги по всем заводам, по всем фабрикам, по всей земле русской и... — страшно сказать! — по всему

земному шару, где только дымятся трубы. Вот в этом ужас и смерть наша!

Тогда выступил профессор, сказал:

— Ваше сиятельство, не нужно только теряться. Если вы их, закоптелых рабов ваших, секли плетьюми,— дерите теперь скорпионами. Если вы сажали в холодную, — гноите в подземельях. Если вы их сотнями арестовывали, — тысячами гоните в Сибирь.

Опустил благородную голову граф, подумал, сказал:

— Больше делается—люты мои палачи, а красная сила растет, растет, на нас с боем идет.

Выступил другой ученый и сказал:

— Нет, одним этим горю не поможешь. Надо их бить их же оружием. Пусть придут люди и говорят рабам то, что они хотят слушать.

Наклонился к графскому уху и пошептал ему.

Улыбнулся граф, сказал:

— Возьми себе денег, дай на журналы, газеты.

Нашел профессор людей, — честные были, благородные, за рабочий люд изнывали по тюрьмам да ссылкам. И говорили эти хорошие люди по фабрикам и заводам, прижимая к животу бумагу толстой книги «Капитал»:

— Товарищи, капитализм, развиваясь по законам, сам в себе несет разложение и смерть. Через сто тысяч лет он до того разложится, что перейдет в социализм, и тогда вы только рот разинете, а социализм — бух! как яблоко, прямо в утробу,— мирно, тихо, как в самом благородном семействе, без шума, и, главное, никого не обеспокоюм. А пока живите с графом, чтоб все шло по правилам.

И стали хорошие люди кстати и не кстати божиться своим евангелием—марксовским «Капиталом», выковыривая каждую букву и жуя от него бумагу для ума.

Ждали-ждали Демидовы внуки, да невтерпеж стало: повернули хороших людей к заводским воротам, да ка-ак ахнут коленкой под зад, так те и вылетели, забились в подворотню и стали хватать прохожих за штаны.

И опять покраснелась первомайская земля от края до края.

Да это бы не беда, а вот пришел июнь, июль, январь, а всюду, куда ни кинешь взгляд, всюду кровавеют знамена, — потянулся май бесперечь.

Да это бы не беда, что всюду краснеют полотнища, а вот выжглись кроваво-огненные слова всех рабочих в закаленных сердцах внуков:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и уже не тухнут и уже никогда не потухнут на всей земле.

Как-то прочел я в заграничной газете: внук известного в свое время богача в России молодой граф Строганов протягивает на улицах Рима свою белую, как сметана, руку и говорит:

— Подайте бедному, но благородному дворянину.

Ах, Демид, Демид, хоть бы ты одним глазком глянул!..

КАК ОН УМЕР

У самого синего моря под зелеными крымскими горами раскинулось громадное имение бывшего царя — Ливадия.

Чего только в этом имении ни было: и невиданные деревья, и заморские цветы, и дорогие виноградники, и фонтаны, и диковинные фрукты, только что птичьего молока не было.

А в белых дворцах, полных роскоши, шла пьяная разгульная жизнь: пьянствовал царь, пьянствовали великие и не великие князья, пьянствовали бароны, графы, иереи, генералы, офицеры, вся свора, которая толпилась около царя и обедала вместе с ним русский народ. А чтоб эту пьяную компанию кто-нибудь не потревожил, все имение было оцеплено колючей проволокой заграждения, а в казармах стояли сводные роты, которые день и ночь охраняли царя с его прожорливой шайкой.

Солдаты были подобраны молодец к молодцу. Кормили и содержали их хорошо, но было скучно и тяжело жить. Несли строгие караулы, целыми часами сидели в секрете и смотрели в бинокли и подзорные трубы на

шоссе, на горные тропки, на леса, на море — не покажется ли подозрительный человек; не покусится ли кто на пьяную, но «священную» особу царя.

А если по морю пройдет судно или лодка мимо имения ближе, чем на версту, стреляли из винтовок и убивали людей.

В город Ялту, лежавший под боком, отпускали редко, да и отпустят не на радость: ходили командами, строго, подтянувшись, и во все глаза надо глядеть — не прозевать офицера. Чуть замешкался отдать честь, или отдал не так уж по-молодецки — карцер, на хлеб и на воду, в штрафные.

В городе хотелось побыть по-человечески, как все, спокойно и свободно, чтоб хоть сколько-нибудь передохнуть, но и этого нельзя было, нельзя было даже поговорить с вольными, — и город и окрестности, и весь Крым кишмя кишели царскими шпионами.

С офицерами было особенно тяжело. Это все были аристократы, князья, графы, бароны, либо купеческие сынки, большие миллионеры — все народ гладкий, холеный, белотелый, от'евшийся. И когда проходили мимо вытянувшихся в струнку солдат, небрежно взмахивали, не глядя, белой перчаткой.

И не то, чтоб они скверно обращались с солдатами, а просто проходили мимо солдата, как проходят мимо тумбы, мимо дерева или камня. Но за малейшую провинность наказывали беспощадно.

А солдаты тосковали, тосковали по семьям, по дому, по работе.

Тосковал и Иван Науменко,

По виду и не признаешь, что у человека день и ночь под сердцем червяк точит. Так же, как всегда, балуются солдаты, играют в чехарду, ездят друг на друге, гогочут, смеются, дуются в три листка. А в остальное время, несмотря на смертельную жару, несут караульную службу в полном снаряжении.

Да и сам Науменко не думал о своей тоске, был всегда веселый, разговорчивый, аккуратный и ловкий по службе, — любили его товарищи. Да и офицеры его отличали, но отличали, как отличают хорошо пригнанное седло от плохо пригнанного.

Не думал о своей тоске Науменко, а думал, что на хорошую службу попал, хорошо ему живется.

Только, бывало, когда стоит на часах или в секрете и выплывут звезды, да такие крупные, каких он никогда не видал у себя в Воронежской губернии, защемило сердце.

Сзади стоят горы. И лежит от них огромная черная тень. За садом медленно и тяжело всплывает у берега ночное море, а из сада пахнет неведомыми цветами. И Науменко думает: «Мабуть, убралась моя Мотря, коров подоила, полягалы вси спать...э-х!»

Курносенькая она у него, круглолицая, чернобровая, ласковая, а работница-то! Девочка у них, четвертый годок. Аккурат родилась, как ему на службу итти.

А тут лежи с заряженной винтовкой и высматривай, как зверь: не лезет ли кто через проволоку в царскую резиденцию. А если приметит, что лезет, свой ли, чужой ли, велено стрелять без оклику.

Однажды Науменко сидел в свободное время под деревом на траве и раскладывал подарки, которые готовил своим: три шелковых платочка, коралловое монисто и куклу. Один платочек старой маты, один жинке, один дочке. И монисто дочке, и куклу дочке. А кукла, ежели в груди придавить, она говорила: «Ппа-ппа!» И глаза закатывала. Науменко смеялся, глядя на куклу:

— Жива душа, тай годи!..

Четыре месяца осталось, а там и домой.

Науменко и не заметил, как проходил сзади офицер.

Офицер остановился:

— Эй, ты!

Науменко вскочил, держа куклу в руках.

Офицер нахмурился:

— Н-не видишь?!

Науменко все так же стоял растерянно, забыв бросить куклу.

Офицер шагнул к нему и впился серыми глазами, полными неизъяснимого презрения. Потом ловко и сильно, так что у Науменко мотнулась голова, снизу ударил его в подбородок. Бриллиантовый перстень на офицерском пальце пришелся в челюсть, и у Науменко во рту стало солоно от крови.

Не в первой это было, били и офицеры и унтеры, били и его, и товарищей, и на все покорно, бывало, отмалчивались солдаты, только в казарме, когда останутся одни, отведут душу крепким словом.

А тут Науменко сам не знает, что сделалось: размахнулся и ударил офицера куклой в самые усы.

Офицер побледнел, как полотно, отшатнулся, сунул руку в карман, но револьвера не оказалось.

Тогда он повернулся и пошел прочь, проведив через плечо сквозь зубы:

— Ступай, скажи, что арестован.

Науменко пошел и арестовался.

С этих пор все пошло, как в железном порядке: допрос, кандалы, суд и... столб, а возле свежерытая яма.

Подошел взвод. Науменко завязали глаза и поставили к столбу возле ямы.

Офицер, командовавший взводом, поднял саблю. Солдаты взяли на прицел, целясь Науменко в грудь.

Вдруг послышался задыхающийся крик:

— Стой... стой!..

Снизу по тропинке бежал солдат и кричал без перерыва, махая руками:

— Стой... стой!..

Точно мглу отнесло, и все увидели то, чего до этого момента не видели: необ'ятно-спокойное море, одиноко белеющий в синеве парус, голубое небо, дрожащие от зноя горы, слышали, как гомозились и щебетали мелькавшие в чаще птицы.

Науменко стоял, как слепой, с завязанным лицом, но и он увидел, — увидел свою далекую Воронежскую губернию, белую хату, Мотрю и... и дочку с монистом, с коралловым монистом на шее.

И где-то в ухе у него, а может не в ухе, а позади уха в глазу, а может не в глазу, а... в сердце, в сердце, которое, чтоб не спугнуть, еле-еле билось, где-то в сердце почуялось: «помилование... помилование...»

Подбежавший солдат вытянулся и, тяжело переводя дыхание, взял под козырек:

— Позвольте, вашкблагородие, доложить.

— Что такое?

— Так что каптенармус просит, которая одежда на ем, так чтоб выдать, как в цехаузе у него недостача, просто сказать, пропажа, и каптенармусу отвечать, так чтоб...

— Какая одежда? Что такое? Ничего не понимаю...

— Дозвольте доложить, вашкблагородие, как ему теперича. — он кивнул на Науменко, — одежда не нужна, все одно пропадать ей, а в цехаузе недостача, каптенармус дюже просил...

— Ну, ладно, — сказал офицер и сердито отвернулся.

Солдат подошел к Науменко:

— Ну, брат, сымай... все одно уж...

Науменко, не видя и неловко тыча руками, стал снимать гимнастерку, потом, повозившись у пояса, штаны, потом один сапог, потом другой, и все смотрели, как глина сыпалась у него из-под ног в яму.

Солдат взял одежду и сапоги и, повернувшись к офицеру и держа под козырек, сказал:

— Вашкблагородие, дозвольте и белье, каптенармус приказывал.

— Ну, хорошо, только скорей.

— Сымай, видно, Иван...

Науменко опять неловко и не видя стал снимать с себя рубаху, потом портки, и бесстыдно стоял, опустив руки и желтея исхудалым телом; только лица не

видать было. Дрожал зной, а тело покрылось гусиной кожей. И когда солдат увидел это беспомощное голое тело, у него запрыгала челюсть, он стал скатывать одежду, белье, сапоги, но все валялось из рук. Наконец, подхватил подмышки и торопливо стал спускаться. Еще не дошел до поворота тропинки, по горам, ломаясь, раскатился залп.

Оглянулся, яму торопливо зарывали, — и он побежал вниз, вытирая мокрое от слез лицо.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Если оглянуться, так тридцать лет, как один день. И за этими тридцатью годами мреет сожженная Волга, иссохшие, над которыми и ворон не каркает, поля, и Самара с порыжелыми домами, и над всем все заслоняющая, раскаленно нависшая пыль.

А люди с иссохшими руками и ногами, с безумием в воспаленных глазах; и голодные мухи вялы на мертвых оконцах.

Голодный тиф, костлявый, поджарый, залитый красным жаром пятнистый старик ходит, ходит, заглядывает в хаты, и когда заглянет, там начинают молча блестеть остеклевшие глаза.

Ходит красный старик, залитый непотухающим жаром, ходит, заглядывает в овины — в овинах пусто. Заглядывает в риги — в ригах пусто. Заглядывает в сарай, в хлевы — в хлевах пусто. Везде стекленеют застывшие глаза...

Трудится, день и ночь ходит залитый жаром старик и не успевает на всех взглянуть, — еще есть живые. Вон у дороги шевелится.

Нечеловечески обтянутые кожей кости лежат в раскаленной пыли у дороги. И нечеловеческая тонкая рука колышется и тянется, и истрескавшиеся, как земля, губы шелестят:

— Хле...буш...ка..

Нет тебе хлебушка, потому что богатейшие поля при всех возможностях — бесплодны. Нет тебе выхода, потому что проклят ты проклятием царского рабства.

А не хлебушко ли?

Какие длинные, какие высокие возы катятся! Как хорошо упакованы. Пыль вьется; споро бегут взмыленные маштаки. Не с хлебушком ли спешат? Нет, это сороковки катятся мимо в царские казенки.

А не с помощью ли идут к голодным добрые люди? — запылилась вдалеке жаркая дорога под усталыми ногами.

Нет, то урядники гонят в далекую ссылку сельских учителей, учительниц, студентов, молодежь, приехавшую в деревню кормить голодных детей, женщин, стариков,— торопливо гонят в ссылку, боятся, чтоб не открыли они темные глаза крестьян на царя с кровавыми клыками.

А вот не эти ли с другой стороны спешат на подмогу к голодным? — закурилась пыль с другого конца.

Нет, едет в экипаже помещичья семья, и пристяжные вьются кольцом, туго натягивая постромки. Какие милые детки в экипаже! какие розовые! как трясутся откормленные щечки!

А помещица, породистая, белотелая, зажимает алый рот батистовым платком и говорит:

— Ах, Иван! зачем поехал сюда. Вон у дороги мужики, наверно, зараженные.

Подхватывает сытая тройка, сливаются спицы в сплошной круг, а милый ребенок с розовыми щечками спрашивает:

— Мама, отчего они такие костлявые?

— Оттого, душечка, что ленивые, не хотят работать как следует у нас в имении.

Кольшется нечеловечески обтянутая протягивающаяся рука, шелестят полопавшиеся, как почернелая земля, губы:

— Хле...буш... ка...

Да уж не это ли тяжело надвигается подмога?

Медленно тянется нескончаемый обоз, далеко тянется по дороге, оставляя виснущую пыль.

Уж не хлебом ли грузон? или сухарями? Или, может, картошку везут?

Нет.

Так что же такое, наконец?!

А это у одного царского сановника в имении из земли ручей бежал; и воду в нем очень хорошо лошади пили. Так сановник назвал ручей «Кувакой», объявил воду полезной, поместил в газетах объявление об этом и стал наливать воду в бутылки, грузить и тысячами подвод и вагонов развозить в Москву, Питер, в Ярославль, в Воронеж, во все города России. Господа в ресторанах вкусно обедали по пяти, по семи блюд и промывали изнутри брюхо, чтобы больше лезло, «Кувакой». Господа промывали брюхо, а сановник, ухмыляясь в бороду, сгребал деньги за «Куваку».

— Хле..буш...ка!.. — И колышется, как тростиночка, нечеловечески иссохшая рука, и не плачут иссохшие слезы, и не ждут помощи.

А помощь тут, как тут!..

Катится лакированная карета, блестя зеркальными окнами хрустят песком шинованные колеса; виснет изнеможенно пыль.

Помощь!!.

Сидит в карете кусок мяса, красный, с отвислыми щеками, с масляными заплывшими глазками, и пот бисером проступил по мясу от трудов — помогал голодающим.

Испугалось царское правительство, что вымрет дочиста крестьянин, некому будет работать в помещичьих имениях, и послало на голод банкира, чтоб купил хлеба и роздал голодным, — этот уже не станет поднимать веки над темными глазами крестьянина на царско-помещичьи порядки.

Стал трудиться банкир. Дешево закупил отрубей, вволю всыпал туда хорошего песка, разбавил для здоровья куколем, разболтал для запаха горсточкой мучки, стал грузить и развозить по голодным местам.

Вяло хрустят царским песочком голодные, безучастно глядя перед собой остановившимися глазами.

А банкир спешит во-свояси, — потрудился.

Отчего же так тяжело гнутся под каретой венские рессоры? Отчего с таким хрустом катятся колеса? И отчего так неловко сидеть в просторной карете банкиру?

Оттого, что вся карета завалена плодами трудов его — мешками с золотом, мешками с золотом, почерневшим от крови, от человеческих мук и страданий.

400 процентов нажил на помощи голодным банкир. И спешит, и торопится в Питер свалить в стальные камеры банка почернелое золото.

И не слышно уж:

— Хле... буш... ка...

И, простираясь над всей страной, осеняет царственная тень двуглавого орла и спешащего банкира, и червленое золото в осевшей карете, и сытую тройку помещика, и бесконечные обозы «Куваки», и торопливо бегущие возы монопольки, и пятнисто-красного от жара старика, который все заглядывает в останавливающиеся, остеклевающие очи крестьян.

Тридцать лет, тридцать лет назад!

ГОЛОДНЫЕ, ХОЛОДНЫЕ

I

Гор не видно, — серая густая мгла, сырая и холодная, нависла.

И город у подножья невидимых гор с разрушенными по углам зданиями тонет во мгле.

Чудесные владикавказские бульвары таинственно задымлены, и пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы.

Вхожу в столовую. Столики, цветы, пирожные, рост-биф; барышни, разносящие кушанья, крепкое пиво пять тысяч рублей бутылка, рояль, — все честь-честью. За столиками сидят и кушают.

Но что-то мешает, что-то портит аппетит. Оглянешься, — в трясущемся, почернелом рванье из мешка, молча, не отрываясь, смотрят старческие провалившиеся глаза с испитого детского посинелого личика, стоит и смотрит, смотрит и молчит.

— Ух ты!! Ну, на! на!

Медленно уходит. Только ложку ко рту, а в рот уже смотрит другой. Этот совсем маленький, но так

же молча глядят с провалившегося личика старческие, недетские глаза.

— Ну, ладно, возьми котлету.

Медленно уходит, но так странно, как будто у него на спине глаза, которые он не спускает с тебя.

И стараешься потихоньку, воровски, забравшись за дальний столик, поесть, — иначе все равно уйдешь голодный.

У служащих не подымается рука их гнать: подходят, берут за плечи и ведут к двери: «Иди, иди, мальчик, тут нельзя»... Они покорно, без сопротивления, без слов уходят; дверь затворяется. Глядь, а за столиками опять недетские, неморгающие глаза.

И куда бы ни пошел, — в учреждениях ли, или в дико запорошенном снегом ущельи, или к Тереку спустишься, или ночью откроешь в темноте глаза — все равно ни на минуту не меркнут эти молчаливые, налитые недетской тоской глаза. Никуда не денешься.

С тряпья, с трясущихся от слабости и холода детей сыплются вши.

Я иду по улице. Все, как обыкновенно: спешат деловые, планируют бездельники, все тот же в звонкой, как комната, улице девичий смех, в радости ожидания счастья, и оживленный румянец на лицах, и неподвижные извозчики на углу.

А против голых деревьев бульвара кирпичный дом, как все, молчаливый, красный, обыкновенный и задымленный мглой тумана.

Входим. Густой, тяжелый воздух, как в нечистой уборной. На голых досках нар вповалку полуголые под

изодранными мешками и рогожами лежат дети. Исхудалые, с воспаленными лицами, с блестящими или потухшими глазами.

Тут всякие: и с сыпным тифом, и с брюшным, и с воспалением легких, и дизентерийные, и с корью, и с инфлуэнцией, и те, кто просто умирает с голоду, все вместе, вповалку. Тут же стоят ведра, и, кто может, сползает для надобностей.

Умирающие дети. Лежат не по-детски молча. Только по временам забьется кашель, и опять тихо.

В углу маленькая, маленькая девочка. Она тихонько всхлипывает.

— Эта обречена: гангрена, — говорит доктор.

Девочка тихонечко, тихонечко плачет, — нет, не затем, чтобы кого-нибудь побеспокоить, а когда маленькая девочка умирает, ей можно немножечко поплакать, тихонечко. И всего-то ее веку два годика.

— Если б хоть сколько-нибудь питание можно бы было улучшить, — в отчаянии говорит сестра, — некоторые выздоровели бы. Бывает, что начнет поправляться после тифа и жалобно просит: «Молочка хоть крошечку али яичка»...—а мы ему борщ с бураками да черного хлеба, ну, и... умирают.

Отчего такой тяжкий воздух?

Не хватает даже того невероятного тряпья, что на них; вымытое не успевает высыхать после мойки. А ведь дизентерийные: все испачкано, все заражено. Так и приходится надевать тряпье, либо мокрое, невысохшее, либо грязное. Тут же пьют, едят, —зараза распространяется.

— Если бы дрова, мы бы отвели отдельную комнату для острозаразных. Вон и комната есть, топить нечем,— ну, и валим всех в кучу.

Как блестят маленькие глаза!

Надо уж уходить, а я стою, и смотрю, и жду, сам не зная чего.

Я смотрю и не могу оторвать глаз от мальчика лет двенадцати. Все дети лежат тихо. И он лежит так же тихо среди них.

Одет: лапти, онучи, пестрядинные порты, кацавейка, вытертая черная шапка. Я сам не знаю, отчего запоминается все так неизгладимо. Он лежит на боку, к нам спиной, подобрал к подбородку колени. Лица не видно.

Доктор придвинулся и, не мигая, как будто приобщая меня к преступному, едва уловимо пошевелил губами:

— Труп... от сыпняка...

Я пошел вон, а в сених жестокая схватка: заведующий кладбищем взволнованно, колотя себя в грудь, кричит:

— Да куда же я их буду девать?! По пять, по шесть трупов присылаете. Да ведь это от вас только. Со всех сторон тянут. Ну, куда! На шею себе, что ль, положу. Ни денег, ни рабочих, могилы копать некому.

— Ну, а мы-то куда же? На улицу выкидывать, что ли?

Я иду по улицам, и идут со мною эти блестящие немеркнущие глаза.

Где же ваши матери, чье сердце разорвалось бы от горя и отчаяния, чья жгучая слеза упала бы на ваше восковое личико?

Я иду по улицам, которые тупо и безразлично текут в дымчатой мгле.

Перехожу мост. Терек, внизу белея, злобно роется, но присмирел, в горах подморозило, и он с'ежился. Гор не видно. А под ногами хлюпающая жижа; до костей пробирает сырость.

Длинное, угрюмое, полуразрушенное здание; выбиты окна, сорваны двери, вокруг невероятно нагажено.

Спускаюсь по скользким ступенькам в полуподвал. Нельзя дышать, несет сортиром.. В полумгле на полу, возле парашей люди; некоторые достали где-то кипяток, пьют. Тут же везде на полу отхожие; ползают дети; больные, — те, что не в состоянии подняться,— ходят прямо под себя, никто не убирает. Невыносимая вонь. В зияющие окна несет пронизывающую сырость и холод. Убежище голодных.

Неужели же нельзя вычистить помещение, устроить отхожее во дворе, забить окна хоть досками, чтобы не так несло. Наконец, можно все это заставить сделать самих же голодающих.

— Да-а, заставишь! — с злобным выражением объясняют мне.— Вон назначили им коменданта. Тот приказал немедленно вычистить помещение и держать в чистоте—так крестьяне, как зверье, поднялись: иди, да сам чисть! И на-зло тут же за дверью и накладет.

Я понимаю, всякий, кто валялся бы в оцепенении на залитом отхожей жижей полу, не в силах подняться

от скрючивающего холода, от голода, голый и босый, и нет просвета, всякий назло в тупом отчаянии тут же за дверь...

Я иду, я опять иду по тупо и равнодушно теряющимся в тяжелой мгле липким холодным улицам, и жижа хлупает под ногами.

Длинный, длинный забор. Из-за забора глядят корпуса больницы, а за забором на растворившейся жидкой земле, на залитой холодной жижей земле... люди — голые, окостенелые, раскоряченные, ощеренные, с судорожно искривленными руками. Их и прикрыть нечем, — о брезенте и говорить нечего, рогож нет. Навеки застывшие люди.

...Пять, шест... десять, двенадцать... восемнадцать, двадцать три... Сколько же их?

И как бы ни расспрашивал, что бы ни узнавал, везде одно: нет денег, нет средств, бессильны. Что будет дальше не знаем.

А они уже мстят, уже повисла месть над городами, над аулами, станицами, деревнями, над нефтяными промыслами, над рабочими кварталами, они мстят, эти раскоряченные, застывшие вдоль забора люди: как мертвенное пятно, расплывается сыпной тиф. Плывет и возвратный тиф. Вспыхнули и летние болезни, которые на зиму обыкновенно замирают, брюшной тиф, дизентерия. И ползут корь, скарлатина, дифтерит.

И все это оттуда, где в сортирах ютятся голые люди, где тихонечко всхлипывает маленькая девочка, которой надо умирать, где лежат застывшие раскоряченные голые люди.

И уже расплывается сыпняк по линии. На станции под Владикавказом валяются по платформе, по путям сыпные впережку с умирающими от голода. У кассы длинный хвост, и все, кто в череду, шагают через зачоченевший труп сыпного, который уже много часов лежит на грязном полу вокзала.

Положение безвыходное: денег совершенно нет, койки сокращены до минимума. Жалкие крохи, какие имеются, недостаточны даже, чтобы мертвецов вывезти.

Рабочие заволновались. Они отрывали крохи от своего жалкого заработка и несли в помощь голодным. На собраниях требовали экстренного обложения буржуазии. И добились этого обложения.

Были собраны крупные суммы, и началась борьба с голодом и эпидемией. Стали подбирать голодных, сыпных, стали кормить, лечить, одевать.

А девочка умерла, навсегда маленькая замолчала.

II

Собрался Криволыковский волостной сход.

Приехал из уезда товарищ. Рассказал про голод. Погалдели, поукорялись, почесали поясницы.

- Знамо — голод.
- Ежели не уродилось, так и нету хлеба.
- А как прежде: закрома у них ломились.
- К ним и мануфактуру и одежду тащили.
- Пушай теперь они к нам везут.
- Будет тебе наливать-то. Али голоду сам не знал?

Пошумели еще, но постановили помочь. По горсточке, по ковшику, по фунтику, ан собрали целый вагон.

— Пущай поправляются.

Выбрали двух крестьян, — веселые ребята, так рот до ушей — и не закрывается.

Сели в вагон, и пошел он постукивать на стыках.

Долго ли, коротко ли, вернулись крестьяне. Стали скликать опять сход. Идут крестьяне, почесываются.

— Чево такое, али опять сбор?

— Будя. Эдак досбираемся, сами зубы на полку сложим.

Собрались. Вышли делегаты. Что за чудо: те — да не те. Все их знают, а признать не могут. Чужие лица, чужие, далекие глаза. Как будто какая мгла отгородила их от всех, и во всю жизнь лицо их улыбки не знало.

— Так что, братцы-товарищи, довели мы все до зернышка в исправности, да как глянули, а там... а т а м...

Да не договорил, засопел носом, махнул рукой и пошел прочь.

И другой не выдержал: по загорелому, обветренному лицу поползла скупая соленая крестьянская слеза. Ушел и этот.

А сход не расходится. Крестьяне устались в землю. Бабы сморкаются, подолом глаза вытирают. Ребятишки притихли, на больших глядят.

Смотрят, а те двое назад идут, несут фунта по четыре ржицы.

— Во, сами знаете, многосемейные мы, до новины нето дотянем, нето нет. А во, принесли. Думали, как бывалыча прежде, отсыпал раз,— и будя, совесть свою ублажил. Ан, глянули там своими глазами, как глянули мы... не расскажешь. Во, каждый месяц будем, сколько в силах, отсыпать.

Разошлись все молча, а там, глядь, у волостного совета, на разостланном пологе, стала вырастать куча сыпаемой ржи.

С тех пор Криволыковская волость каждый месяц бедно-бедно, а с полвагона наколотит и посылает. Приговаривают:

— Што ж, ничаво, пушай поправляются.

НАВЫВОРОТ

Капитон Иваныч держал трактир. Место было бойкое, хоть и в стороне от железной дороги. Много было проезжего люда, да и из соседних деревень наезжали крестьяне в базарные дни. И свое село было большое.

В базарный день далеко до свету, среди осенней тьмы, слякоти, невидимо сеющегося дождя всеми огнями светился трактир. Капитон Иваныч — небольшой, пузатый, с пузатыми щеками, маленьким красным носиком и бегаящими мышинными глазками — носился по всему двухэтажному трактиру. Везде слышался его тонкий визгливый голос. Внизу были комнаты для приез-жающих; сюда же тайно приводились гуляющие девицы. Вверху бильярдная, буфет, чайная и закусочная, а в

отдельных кабинетах в чайниках самогонка подавалась.

Жена и дочь тоже до ночи возились по трактиру. Три человека служащих было у Капитона Иваныча.

Никиту он вывез из голодающих мест. Вozил он туда собранный волостью хлеб, половину которого очень выгодно для себя продал, другую половину пополнил отрубями, песком, сдал и получил большую благодарность.

Тут-то он нашел на улице умирающего с голоду Никиту. Сердце у Капитона Иваныча ласковое и сострадательное, не мог он видеть чужих голодных страданий, забрал Никиту с собой; накормил, одел, приспособил к трактиру, и Никита привязался к хозяину, как пес,— никто не знал, когда он спал, ел, все видели только, что он работал, как вол, и глядел исподлобья хозяину в глаза, крепкий, коренастый, неповоротливый, как медведь, но если сгребет, пискнуть не успеешь — ломает. Скажи хозяин: убей человека, — и не моргнул бы! — и готово.

Был еще служитель при трактире — парень лет восемнадцати, веселый, разбитной, любитель девок и самогонки, так и не закрывает белых ядреных зубов, гы-гы да гы-гы-гы! Бил его хозяин, а он все свое: как чуть отвернутся, и спер бутылку самогона, и опять бой, а ему, как с гуся вода, — гы-гыкает, скалит зубы, да под глазами фонари хозяйские стоят.

Была еще девушка, тихая, безответная, бледное личико, и смотрела недоуменно голубыми раскрытыми широко глазами. Били ее, щипали, тиранили, держали вечно голодной хозяйка с дочерью; знали, — изнасиловал ее Капитон Иваныч, — молила она, плакала, сапоги ему целовала, нет, изнасиловал, и не могли ей простить этого мать с дочерью. Бросили ей дерюжку под лестницей — там и спала свернувшись и дрожала всю ночь.

Отлично работал трактир, и был полная чаша дом Капитона Иваныча.

Оттого все ладилось у Капитона Иваныча — умел с людьми он ладить, со всякими людьми умел. До

революции у него был этот самый трактир, сам и строил. И все начальство, какое только приезжало в волость, все прямо к нему, — и становой, и пристав, и сам исправник при объезде уезда.. И тут разливанное море — на карачках ползало начальство.

Зато и уважали Капитона Иваныча. Всю округу он в кулаке держал: за гроши скупал хлеб, скот, масло, холсты и прочее. Пикнуть никто не смел. Любили его все, величали благодетелем.

Пришла революция, и все благополучие Капитона Иваныча рухнуло: трактир пошел под школу; землю, лес, скотину отобрали. Туго пришлось. Крестьяне перестали ломать шапки, а, как только попадался на глаза, ругали матерным словом и величали мироедом, сосуном, кровопийцей. Да видно доходчивы до бога молитвы того, кого люди обидели, — опять повернулось на старое: и базары открылись, и торговля началась, и опять стал скупать Капитон Иваныч у крестьян и хлеб, и скотину, и масло. И опять стали низко скидать перед ним шапки и величать Капитоном Иванычем.

И с начальством с новым, с исполкомщиками, поладил. Разумеется, без самогону и приношения дело не обошлось. Ну, да свои люди попали, все по-хорошему обошлось. Собрали многочисленный и шумный сход, разогрелись, дошли до градуса — глаза вывалились (целую неделю перед этим Капитон Иваныч гнал самогон), и порешили: построить хорошую новую школу, когда... будут средства, а пока сдать помещение Капитону Иванычу под трактир для общественного дохода, «силов

наших нету, все животы пропали, а школа все одно бездействует — ни дров, ни книг, и учителя разбежались». На том и постановили. А Капитон Иваныч пожертвовал прекрасных брусьев на стройку новой школы.

Засветился трактир, заиграл, забурился. Комом стало наворачиваться опять состояние Капитона Иваныча все больше и больше; и опять он стал благодетелем всей округи.

Ах, все бы хорошо! Так ведь надо ж было; завелась червоточина, заноза, и все росла, колола, и перестал спать по ночам Капитон Иваныч.

И кто бы был! Добро, хороший, уважаемый человек, а то Кирюшка Чересседельников, плюнуть не на что, — пришел из Красной армии и — на тебе! — стал писать, да куда писать-то?!.. в газеты. Придут газеты, глядь, а там корреспонденция! да про нашу волость, да про наше село, да про Капитона Иваныча. Эх, мать твою тетка кривая! Этак недолго и на свет божий с потрохами выволокут, — да тогда и не расхлебашь каши, все ведь поплывет, все дела наизнанку, навыворот пойдут. Пробовал Капитон Иваныч и добром с ним. Чересседельников заходил иногда вечером в трактир. Посидит, чайку попьет и все с крестьянами беседует, что и как.

Опять — пришить можно паскуду и остаться в стороне, никаких доказательств не будет, да ведь пойдет писать губерния. Наедет следствие, начнут докапываться, что да как. Капитона-то Иваныча к делу не пристегнут, бездоказательно, а дела всякие попутно всплывут...

Думал, думал Капитон Иванович, удумал-таки, позвал Никиту.

— Вот что, ты, бревно стоеросовое. Тут есть один человек, который на мою жизнь замышляет. Так ево надо тово... ентово... Дурак! не убить, а маленечко... потолкать. Да ты понимаешь, кувалда неотесанная? Заставь болвана богу молить, он те кишки вывернет .. потолкать трошки, под микитки, под зад, обмять маленечко, а ее то что до бесчувствия,.. Дура, тебе, говорят, ай кому!..

Никита стоял перед ним, как вывороченный сукастый пень, и бычился, и от этих маленьких из-под насунутого толстого черепа глаз становилось жутко.

— Возьмешь в сарае мешок да как завечереет, стань под лестницей, а лампу не зажигаай,— пушай впотемках. Ну, как будет итить тот человек, который замышляет на мою жизнь, только на лестницу, я крикну, ты зараз мешок ему на голову, задерни, чтоб не орал

и при его к сараю, а там помни трошки, да трошечки, дубина ты кедровая, а то напрешься, как бык, сиволапый, чорт! Ежели да искалечишь, али убьешь, сгною в остроге. А потом к избе курносой Матки оттащи и брось, будто ребята его застукали.

— Понимам.

— Понима-ам! дура пресловутая. Под расстрел сукина сына, ежели дело мне попортишь...

Давно сидит Никита с мешком в темноте под лестницей, по которой то-и-дело шаги вверх и вниз, и все чертыхается народ, темно, спотыкаются.

Хозяин в темноте окликнул:

— Тута Никита?

— Здеся.

Капитон Иваныч вышел на улицу, темь, зги не видать, постоял, постоял, — нету корреспондента, как провалился. Пошел назад, полез по лестнице, споткнулся, чуть носом не запахал.

— Экк ево!

В ту же секунду что-то перехватило ему голову, горло, грудь, руки и поволокло. Он не мог кричать, не мог выпростать руку, как ни бился, только ногами болтал да господа молил.

Потом его кинуло на-земь и... да что же это такое?! Его там било, катало, мяло, душа с телом расставалась. Потерял память.

Очнулся, лежит он в луже, дождь хлещет, темь, кто-то стаскивает с него мешок, слышит — голос Чересседельникова:

— Капитон Иваныч, да это вы?! Да кто это вас?..

А Капитон Иваныч заплакал и проговорил вспухшими, как подушка, губами:

— Го... голубчик... на... навы... во... рот... наыворот вышло...

БАБЬЯ ДЕРЕВНЯ

По кочкам и корневищам долго ехал Сергей. Куда ни глянешь, пни вырубок или глухие, молчаливые сосны.

Дикое место. От железной дороги сто пятьдесят верст.

Вот, наконец, и деревня, — в снегах на горе. Внизу речка застыла, лишь черные полыньи дымятся. Кругом сизые от мороза леса, — раздолье!

У большой избы ямщик постучал кнутовищем. Вышла баба в перетянutom ремнем тулупе, в треухе и в штанах.

— Агитатора из городу вам привез, — сказал ямщик, показывая кнутом на Сергея.

— На кой он нам!

Повернулась, отворила ворота и сказала:

— В'езжайте во двор. Лошадь в сарай заведи, теплее буде, а сами в избу, погреемся.

Сергей с ямщиком сидят распаренные в жарко нагретой избе, и тянут, обжигаясь, чай с блюдечек.

А уж полна изба набилась баб — и молодые, и старухи, и девки.

«Да все ядренные какие, девки-то, кровь с молоком, Ишь глазами блестят... — подумал Сергей, схлебывая с блюдца и прикушивая медком. — И все в штанах да в треухах, по-мужичьи».

— А чего же у вас мужиков-то не видать?

— Все мужики пропали, — сказала старуха, глядя в угол.

— Жанихов теперича ни одного, — печально засмеялись девки.

— Один мужик на разводку остался, да и тот без'язышный.

— Как так?

— Да так. Пришел енерал Колчак и давай сгнущаться над народом — ды тянут, ды разоряют, ды бабам нет житья, сколько девок перепортили. Мужики терпели, терпели, ды все убегли к балшвикам. А из них роту энти сделали. Ну, наши и стали бить Колчака. Выгнали из деревни и погнали. Страсть, наклали ево. А потом слышим, послышим, все наши полегли под одним городом. Брали город у Колчака, все полегли до единого.

В избе стало тихо. Курлыкал самовар, да за печкой сверчок тренькал.

— Чего ж вы все мужиками оделись?

— Нужда загнала. Лес ли рубить, али какую чижолую работу, где же в юбке — не справишься.

— И девки в портках, — сказал ямщик, показывая зубы из-за блюдца с дымящимся чаем.

Девки весело засмеялись, блестя глазами:

— А чем же мы хуже вас?

— Ну, ладно, — сказал Сергей, отодвигая чашку, — делу — время, потехе — час. Кто у вас председательша совета?

— Да она же, — указали на краснощекую, коренастую хозяйку избы.

— Так сбей сход, а я поговорю с вами. Я из города прислан от партийного комитета.

— Да мы, почитай, все тут. А каких нету, в лесу делянки рубят, либо сено с лугов возят. А об чем говорить — то будешь?

— Обо всем: об советской власти, о разрухе, о коммуне...

Тут все бабы азартно закричали:

— Не надо нам коммунии! Будь ты проклят с ней, рогатый чорт!

— Надень себе ее на рога...

— Штоб ты издох с ней, с твоей коммунией...

— Да вы что, ай белены об'елись? — спрашивал изумленно Сергей.

Но бабы его не слушали, а с красными потными злыми лицами — в избе была невообразимая давка — кричали, ругали, махали перед его лицом кулаками.

— Носатый сатана!..

— Запрягай, да по-добру, по-здорову, по морозцу...

— Ишь ты, подобрался: мужиков нету, так он втихомолочку с коммунией под'ехал.

— Да постойте! — кричал Сергей, притиснутый в самый угол. — Чего ж вы взбеленились? Что ж, вам сладко так-то живется?

Бабы сразу опали:

— Куды слаже! У кого брата, у кого мужа, у кого сыновей...

Тяжелые вздохи пронеслись по избе, набитой бабами. Блеснули слезы.

— Ну, вот. Небось, и с хозяйством не ладно. Голодно, холодно, особенно многосемейным да бедноте.

— Ды как, — сказала хозяйка, утирая глаза. — Чижало. С весны пахать надо, — нечем взяться. У кого лошаденка, — плуга нету. У кого плужок, — худобы нету, Ложись да помирвай. Сбились мы все бабы; галдели, галдели, порешили на том — сообча пахать. Опять же каждую полоску пахать в отдельности, — толков не выйдет, до осени пропадем. Порешили бесперечь всю землю запахать. Согнали лошадей со всей деревни, сволокли все плуги, бороны, вышли всей деревней и давай пахать, а следом — боронить. Одни лошади выбились — отставили на отдых, других запрягли. Эти выбьются — опять их на отдых, — энтих запрягаем. Бабы, девки выбьются из сил, — другие берутся, а энти отдыхают. Так, по переменкам, с ранней-то зорюшки до поздней самой темноты. Не успели оглянуться — ан земля вся вспаханная.

— Ну, — сказал Сергей, с удивлением глядя на баб.

— Не нукай, не лошадь тебе, — засмеялись девки. —

Ну, таким же манером отсеялись. А хлеб поспел, тут и вовсе гужом надо работать, — нету полосы твоей али моей, вся обчая. Опять же косилка одна на всю деревню. Ну, и стали косить, переменяясь. Ночи светлые выпали, месяц, так день и ночь косили, все сняли. Вымолотили сообча и ссыпали в общественный анбар, —

смотреть за хлебом и караулить легче, как он весь вместе. С тех пор свет ясный увидали.

— Ну, а как же вы хлеб делите? по работникам или как? — спросил Сергей.

— Спервоначалу, которые без детей, заспорили, чтоб по работникам делить.. Ну, мы собрались и порешили: по едокам делить. Потому, у которой бабы много детей, чем же она виновата.

— Ну?

— Опять поехал, — подхватили девки со смехом.—

Обдумали мы, — продолжала председательша, — хлеб не раздавать по дворам, а печь сообча на всю деревню. По очереди шесть баб на всю деревню напекут в общественной печке, и раздадим по едокам, и горюшка нам мало.

— Ну, что же у вас еще есть? — спросил Сергей, с удивлением разглядывая баб.

— Да чего же, больше ничего нету. Все недостатки да недохватки. Посуды нету, — почитай, не в чем готовить. Так мы добыли у смолокура котел, смолу он варил. А мы вмазали в печь, да стали на всю деревню готовить. Сарай у одной бабочки был. Так мы его обмазали, окна, двери вставили, печь сложили, столы длинные поставили и ходим всей деревней и с детьми обедать, вечерять. Так-то ли хорошо: по очереди готовим, посуду моем, а энти все свободные бабы и девки, каждая свое дело делает.

— Вот так ловко!—сказал Сергей.— Вот не ждал, не гадал такое увидеть в деревне. Ну, а еще чего у вас есть?

— Да больше ничего.

— Ну, а с детьми как? Поди, трудно?

— Как не трудно. Нето работу работай, нето за детьми гляди, — хочь раздерись. Так мы маленьких со всей деревни сволокём в одну избу с утра. Изба просторная, светлая: по очереди и смотрим за детишками. Им тепло и хорошо в чистоте. А вечером бабы разбирают по домам. Прежде каждая баба за своим смотрела, а мужики работали, а теперича самим работать приходится, вот и удумали. Пеленки-то штоб не мыть каждой в отдельности, так мы в одну избу со всей деревни наберем, да поочереды стираем.

— Ай, да ловко! Ай, да бабы-девки! ай, да герои! — сказал Сергей и захлопал в ладоши. — Да кто; же это вас все надоумил?

— Да хто? Нужда, — сказала хозяйка, пригорюнившись. — Нужда горькая.

— Ды Васька... — весело заговорили девки.

— Он у нас один жаних на всю деревню. Оттого и не женится, — не разодраться на всех девок.

Синие зимние сумерки загустились в избе, а замороженные окна выступили белыми четырехугольниками. Бабы и девки так же тесно стояли и сидели, переговаривались и смеялись, и в синей темноте не видать было их лиц.

Да вдруг и стены избы, и потолок, и остывающий самовар, и лица разом ярко и голубовато вспыхнули.

— Что такое?!. Что это?! — вскочил Сергей, а сам уж видит, загорелась под потолком лампочка, и окна сразу стали черные.

Девки засмеялись.

— Ага, испужался!

— А у нас електричество проведено по деревне, — оказала спокойно хозяйка.

— Да откуда это у вас? Кто такой Васька? — спрашивал Сергей, глядя на них во все глаза

— Да наш же парень. Годов семь на фабрику ушел, и ни слуху, ни духу об ём не было. Потом слышим-послышим, —на войну взяли. И там ему пулей зубы выбило и язык под самый корешок срезало. Ну, доктора залечили. Дошлый парень, а говорить не может, языку нету... Вот он нас все и надоумливал. Говорить не может, а показывает. С'ездил в город, приволок какую-то машинку, приправил к водяной мельнице, протянул какие-то черные ниточки, вот и пошло электричество по всей деревне. Теперь опять в город уехал.

— Урра-а-а! — закричал радостно Сергей и подкинул шапку. — Да это же у вас и есть коммуния! Самая настоящая коммуния!..

— Тьфу! Тьфу! Штоб тебе кобель рыжий приснился,— зазвенели девчата.—Али взбеленился?! Да ни в жисть в коммунии не будем.

— Да это же самая она настоящая коммуна и есть, когда люди вместе живут, работают, все общее, и делят наработанное, чтобы каждый был сыт, все в чистоте, в уюте, в довольстве.

Изба вдруг наполнилась раздраженным говором, криком, движением.

— Ах, ты, конопатый чорт! Цыплок облупленный! Ты это што ж: опять зы коммунию взялся. Навязать

хочешь нам! Ды ни в жисть! Штоб она сдохла, твоя коммуна!

— Постой, бабы, девки! — кричал радостным голосом Сергей. — Да это же и есть, сами устроили, ни у кого не спросясь... Это и дорого, сами у себя устроили... жизнь вам подсказала... Это и есть самая настоящая комму...

Да не успел договорить — чей-то увесистый кулак пришелся в ухо, и у него зазвенело. Кругом красные, возбужденные, злобные бабьи лица и сверкающие глаза. Сергей раздвинул их локтями.

— Ну, это вам даром не пройдет...

И опять не успел договорить.

— Штоб ты лопнул, окаянный! Штоб те выворотило на изнанку! Бей их, девки! Волоки на двор!

Он не успевал обороняться и отступал к стене — не драться же с ними.

Кто-то сзади насунул ему шапку на самые уши, накинули тулуп, и он вылетел из избы в распахнутую дверь, головой в сугроб. За ним в тот же сугроб вылетел ящик.

А уж двор полон баб и девок, и их возбужденные голоса мечутся в морозном воздухе.

Девки мигом выволокли из-под навеса сани, ввели в оглобли недовольную лошадь, перекинули дугу, засупонили, и не успел Сергей отряхнуться хорошенько от набившегося везде снега, как его ловко свалили в сани. Туда же, как мешок, свалился ящик. Столпившиеся кругом бабы, отчаянно крича и улюлюкая, взяли в кнутья лошадь.

Изумленный мерин захрапел, поддал задом, рванулся и вынес сани на улицу. Девки бежали и все хлестали. Только за околицей ямщик, намотавший вожжи на руки, сдержал расскаавшегося мерина.

Ясная морозная луна бежала над лесом в одну сторону, а верхушки леса—в другую. Сергей сердито привалился к задку саней, глубоко засунув руки в рукава.

«Чортово бабье! Сатана в них вселился. Как белены обожрались. Что с ними делать? не бить же их?..»

Он потрогал вспухшее ухо.

«Вот и веди работу. Да к ним сам чорт на козе не под'едет...»

Долго ехали молча. Повизгивали на укатанном снегу полозья, прыгали заиндеветшие шлея и дуга на споро бежавшем мерине.

— Но, но, милай!.. — подгонял его ямщик, пошевеливая тоже побелевшими вожжами.

Да вдруг повалился спиной назад, через облучок, в сани, высоко задрал кверху огромные валенки и стал хохотать, как леший, на весь лес:

— Хо-хо-хо!.. Слышь, энта черномазенькая-то кэ-эк звизданет меня по шее! аж в голове загуло. Ну, думаю, — шабаш! своротило шею, — не разогну никак, да и на! Хо-хо-хо!.. ха-ха-ха!..

Он хохотал, как сумасшедший, с таким подмывающим увлечением, как будто ему не по шее дали, а поцеловали.

— Хо-хо-хо-хо!..

— Ну, чего ты, с дурна ума? — сердито сказал Сергей и вдруг сам ухмыльнулся в обмерзшие усы.

«А ведь что, — вдруг, неожиданно для самого себя подумал он, — вот маленько работу в своем районе подберу, приеду, да женюсь. А что же! Здоровый, крепкий народ. Умеют дело делать, а не языком. А как втянется — дорогая работница будет...»

А ямщик нет-нет да опять во все горло:

— Хо-хо-хо! кэ-эк звизданет! и зараз, как бирюк, шеи не поверну.

Да вдруг круто повернулся к Сергею, снял шапку и помотал открытой головой на морозе:

— Слышь, Лексеич, што я тебе скажу: вот зараз отвезу тебя, поеду к своим, скажу родителям: пущай благословят — женюсь, — ей-богу, приеду и женюсь.

Сергей прятал усмешку в усы. Ямщик крутил головой и весело хохотал. Ухмылялся и мерин, заложив одно ухо назад и потряхивая седелкой. И месяц с веселой рожей все бежал вдоль дороги, мелькая за верхушками сосны.

Кругом стояли мороз, тишина и залитая белизной ночь.

В ОГНЕ

Много лет назад на юге ехал я в Юзовку.

На одной станции наш поезд задержали. Жара, пыль, мухи — тоска. И чего стоим?!

Окруженный тревожной толпой железнодорожников начальник в красной фуражке на все расспросы сердито молчал и, не отрываясь, как и все, смотрел в далекую синеву, откуда закруглением выбегали пути.

Там засверлило, запылило, родился белый клубочек, показался круглый перед паровоза, разросся поезд, громяхая на стрелках, поравнялся со станцией, пронесся и пропал. Начальник снял красную фуражку и перекрестился.

На одно мгновение я уловил сквозь блеснувшие огромные зеркальные стекла вагона матово-точное лицо красивой молодой женщины, цветы, бархат, надменное лицо холеного молодого человека и в глубине, в ленивом кресле — тяжелого пожилого господина с огромным брюхом, обтянутым белым жилетом, по которому блеснула золотая собачья цепь.

Все пропало, как сон.

Начальник повеселел.

— Миллионер, миллиардами ворочает, — заговорил он, молитвенно глядя в далекую синеву, где ничего уже не было. — Дочь выдал замуж, свадебное путешествие, и сам с ними. Свой экспресс. Все поезда по пути задерживаем, его пропускаем. Пока прошел мой участок, верите ли, сердце остановилось, случись что-нибудь, на край света загонют, как можно! Сколько акций у него Юзовского завода. А рудных шахт! А угольных! Да все кругом в руках их компании. Ну, слава богу, пронесло. Иван, давай звонок почтовому.

В Юзовке надо было разыскать машиниста. Пошел через базар. Огромная, глазом не окинешь, площадь вся была заставлена поднятыми к небу оглоблями, — воскресный день.

И чего только тут ни было! Целые возы яиц, сало в четверть толщины, баранина, арбузы, виноград, горы белого хлеба, молоко, сметана, творог.

На краю Юзовки в крохотном двухэтажном домике я разыскал семью машиниста.

Женщина с заострившимся носом и лицом, с замученными глазами держала желтого одутловатого ребенка; в кулачке у него был зажат обмусоленный кусочек черного хлеба. Две девочки-погодки, трех и четырех лет, цеплялись за подол матери. Мальчуган лет шести навалился животом на кошку и тиранил ее. Испитые все были дети.

Тонкошей, не по летам серьезный, девятилетний мальчик, должно быть, старший, внимательно смотрел на меня большими, в глубокой синеве, глазами.

- Самого-то нету, на заводе работает.
- Да ведь сегодня воскресенье.
- Все одно, работает. Вот Митя проводит вас.

Внизу в огромной раскинувшейся лощине среди стлавшегося моря сизо-черного дыма плавали макушки зданий.

Из этой мутно волнующейся пелены неслись грохот обрушивающихся молотов, падающего железа, сталкивающихся вагонов, гул пожирающих топков, бурное хлокотание раскаленно-жидкого металла, непрерывающийся лязг, и надо всем — ад неукротимо палящего дымного солнца.

Человеческих голосов не было слышно.

Мы спустились с обрыва. У заводских ворот толпа рабочих с голодными глазами. Кто сидел, кто стоял, кто лежал и ковырял землю.

— Дожидаются, а наемки, все нету, отощали дюже, — оказал мальчик. — Тут, когда не приди, все дожидают, хочь зимою, хочь летом, днем и ночью, так и стоят.

Я выправил пропуск, и мы прошли на завод.

В черном дыму, в горькой копоти солнце пробивалось маленькое и чугуно-красное, железно метался нестерпимый грохот, лязг, скрежещущий стон, — люди об'яснялись знаками.

Мальчик пришел к бесконечно длинным, врытым, низко придавленным, чуть выглядывавшим из земли сводам. От их раскаленных кирпичей воздух знойно дрожал; печи нескончаемо тянулись параллельными рядами, а в их боках бесчисленно чернели чугунные дверцы.

По проложенным между ними узеньким рельсам двигался крохотный паровозик, только одному человеку стать, и лежал на паровозике железный брус с железной поперечиной на конце. Остановится паровозик перед дверцами, подскочат с двух сторон двое рабочих, длинными железными крючьями распахнут обе половинки дверец и отпрянут назад.

А из разверстой печи хлынет такой ослепительный, такой невыносимый жар, что у машиниста волосы начинают корежиться, а по землисто-бледному, ввалившемуся и неподвижному лицу сплошь густо и непрерывно плывет пот.

Машинист поворачивает рукоятку, и железный брус, громыхая, лезет с паровозика, в'езжает в самую печь и выпихивает на другую сторону гору добела раскаленного кокса. Коксовальные печи.

Брус, гремя, выбирается назад, паровозик под'езжает к другим дверцам, они опять распахиваются, опять брус выгребает на ту сторону раскаленную гору кокса, и так без конца.

— Это—папаня!—закричал мне в ухо мальчик и подбежал к машинисту, всячески укрываясь рукавами от сжигающего жара.

Я задыхался и не знал, куда деваться.

Машинист знаками что-то об'яснил. Мальчик потянул меня, и мы выбрались из ада.

— Папаня сказал, чтоб шли домой, он зараз придет, там с вами будет разговаривать.

Уже ночь стояла черная, дымная, без звезд. Мы с обрыва смотрели на завод.

Над домами полыхало неизмеримое дьявольское пламя; обманчиво мигали багровые облака, нето тучи распластавшегося дыма.

Человеческих голосов не было слышно.

Дома на клеенчатом столе мурлыкал шипящий самовар, на тарелке белели яйца, в кувшинчике молоко, стояло масло, нарезан ситный.

Пришел машинист. Поздоровались. Детишки облепили стол и глядели голодными глазами.

Машинист сел к столу.

— Мать, дай-ка чаю.

— Не дам, поешь спервоначалу.

— Ну, как у вас там?

— Да вот литературу привез.

— Доброе дело.

Он облупил яйцо, откусил, да вдруг странно ткнулся в стол, уронив голову, с куском откушенного яйца во рту.

— Митька, али не знаешь своего дела?! — закричала мать.

Мальчик ухватил отца за нос и стал таскать из стороны в сторону и тянул плаксиво:

— Папаня, да ну-у, будет! Не спи, поешь, потом будешь спать.

— Ну, ладно... хорошо... — отшатнулся тот и опять ткнулся и уронил голову.

Мальчик опять его затормошил, поднимал за подбородок, легонько дергал за уши. Машинист стал вяло жевать и с виноватой улыбкой, с усилием поднимая отяжелевшие веки, сказал;

— Сморился дюже. Ну, пойду. Мы с вами утром потолкуем, я свежий буду. Вы ночуете у нас.

В другой комнате закрипела кровать, и послышалось его свистящее, залиvistое дыхание.

Ребятишки сейчас же окружили стол и закричали на все голоса:

— Дай!.. Дай!.. Дай!..

Мать их оттаскивала и торопливо прятала яйца, белый хлеб и молоко.

— Цытьте!.. Зараз вечерять соберу, это папке утром.

Поднялись визг и плач. Она шлепнула одного, другого, поставила миску, налила квасу, накрошила черного хлеба, луку, и ребятишки стали носить пузатыми деревянными ложками.

— Почему сегодня ваш муж и в воскресенье работает?

— Господи, — сказала она, — ды ведь всегда. Ни праздников, ни воскресных дней нету, печи-то бесперечь горят, не тухнут. Только что на Пасху — два дня, да на Рождество — день, а то круглый год. Двенадцать часов проработает, двенадцать его товарищ, так и сменяются.

— А если заболел?

— За все время полагается только три недели болеть, ежели больше — за ворота. У моего-то воспаление легких было. Пролежал три недели, доктор сказал — еще поправиться надо, а он стал на работу, — семья. Доктор велел кормить, а сами видите, какой едок, в рот не вопхает. Придет, только бы до постели

добраться. Обед пошлешь на завод, от жары не ест. Только что утром перекусит.

Она вытерла глаза и высморкалась в уголок платка.

— Ребятишек жалко. Да на двадцать два рубля в месяц не дюже раскормишься. Яйца-то стоят восемь копеек десяток, разве мысленно!

Ребятишки налили раздувшиеся животы квасом, напхали луком и черным хлебом и, облизав ложки, расползлись спать. Только старший стоял возле с прозрачным лицом и, вытянув тонкую шею, внимательно слушал.

— Этого-то вот в училище надо бы отдать, просится, а мы в трактир определяем, в мальчики... куды жа деться.

Она опять всхлипнула и вытерлась уголком.

Всю ночь меня давило. Будто земля провалилась в черный провал несказанных размеров, и будто весь провал застлало дымом, и будто стоит в нем с серым железным лицом громадный человек, и черные ямы вместо глаз, только железные плечи выставились из дыма, и будто в руках у него четыреххвостка, и вплетены в нее железные концы. И в дыму не слышать человеческих голосов, а все знают — там полно людей, и несутся оттуда туда железные стоны и лязг, и надрывающийся металлический грохот, и нет этому конца, и нет ему предела..

*

Пришлось недавно мне опять, проезжать через Юзовку, теперь Сталино. Зашел в знакомый домик. Встретила молодая женщина приветливо с ребенком на руках:

— Вам Митю? Он сейчас придет.

Подождал. Хлопнула дверь. Вошел с бледно-темным от сажи и огня лицом молодой рабочий, в грязном, замасленном и прожженном костюме.

Я назвался.

— А-а, как же, помню. А меня бы не узнали, мальчишкой ведь был тогда. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Анюта, дай нам чайку. Папаша помер года через два после вас... чахотка. Замучили. Я на его месте теперь. Мамаша с старшей сестрой уехали.

— Что же, тяжело и теперь?

— Как же не тяжело, в огне. Ну только, разумеется, не то, что было. Во-первых, семичасовой день, работа сменами, во-вторых, выходной день есть. Опять же профессиональный союз, завком, — ну, да совсем другое. Как же. Недаром революция пришла. Конечно, трудно, и деньги задерживают, и продукты, и спецодежды не добьешься. Ну, да ведь знаешь, не на век, а все понемногу лучше, — гляди и вылезем. Теперь, по крайности, надежда есть — вылезем, беспременно вылезем, а ведь тогда беспросветно.

И я вспомнил, как много лет назад стоял на станции. Жара, пыль, мухи—тоска.

Начальник станции в красной шапке, с напряженной тревогой в лице. Толпа железнодорожников, жадно глядевшая в даль убегающих путей.

А там засверлило, запыхало, родился белый клубочек, разросся в поезд, и он, громяхая на стрелках, пронесся мимо станции и пропал. Начальник снял красную фуражку и перекрестился.

На одно мгновение я уловил сквозь блеснувшие зеркальные стекла салона матово-точное лицо красивой молодой женщины, цветы, бархат, надменное лицо холеного молодого человека и в глубине, в ленивом кресле — тяжелого пожилого господина с огромным брюхом, обтянутым белым жилетом, по которому блеснула золотая собачья цепь.

Все пропало, как сон.

Да все пропало, как сон: оттого Митя так твердо уверен, что вылезем.

НОВАЯ СТРОЙКА

(С натуры)

Среди развалин и разрухи торопливо работает одна фабричка. Небольшая, согнулась, как старушонка, но здоровенная фабричная труба ее хлопотливо дымится, не угасая.

Кругом, то и видишь, замолкли станки, не видать дыма, а наша старушонка и в ус не дует, суетится и все посылает со двора подводы с выделанным добром

Заинтересовался я, поехал в Лефортово, глядь, на Большой Переведеновке, 40, за скучным забором суетится старушонка.

Вошел. Низко, тускло, полутемно, неуютно, — ну, это уж наследие от буржуа: капиталист для выжимания пота из рабочих дворцы не станет строить. Капиталист поставил калеку-здание, калеки-машины, приник, впился зубами и стал сосать из живого человеческого труда прибыль.

А тут война. Задымилось море крови, а к капиталисту в карман толстым жгутам побежало, сверкая, золото,— не успевал в банк бегать; подрывалась рабо-

чие, изнашивались машины, инвентарь; он ничего не поправлял, не ремонтировал, не восстанавливал, только хрипло гнал рабочих в неустанный труд.

Пожар, крыша провалилась, — не беда! Застраховано.

Грянула Октябрьская. Капиталист исчез. Стоят рабочие перед пожарищем, перед расшатанными, изношенными, разбитыми машинами, чешут в затылках — эх-ма!

Ни денег, ни специалистов, все высосано, нечем взяться, нечем погасить неуплаченную заработную плату.

Слезами горю не пособишь, — засучили рукава, и давай строить. Призвали своего же плотника. Прикинул аршином.

— На крышу столько-то бревен, досок надо.

— Ищи!

— Да где я их найду, — взмолился.

— Хоть роди, да найди. А то и не показывайся

— Наше-ол!

Приволокли и бревен и досок. А как их приходилось выманивать, выклянчивать, выворачиваться в платежах, — долго рассказывать.

Во главе — старинный работник фабрики, склизким выюном вертится, — где слабо, где вот-вот оборвется, там он.

Денег, денег же надо! Поймите: все лопнет! Товару на складе от хозяина осталось, подманули спекулянта — бери товар, горы наживешь.

Загорелись змеиные глаза, заворотил полу, достал тугую мошну, отсчитал пятьдесят тысяч, как копеечку,

и не крякнул, нагреб добра на складе, на подводу и повез. Барыши-то, барыши, ах, голова кружится!

А его того... гм!.. в Чеку.

Что!.. Да ведь годы, века сосали такие-то детишек, женщин. Горы рабочих костей гниют в земле, а у этих, со змеиными-то, рекой льется роскошная жизнь из замученных жизней. Заткните же подлую глотку, лицемеры.

Так два раза напоролись спекулянты.

Оперились маленько наши, затянули крышу, заделали пол, поставили машины, заработала старушка. Чешет, набивает ворс на сукно, красит, посылает красноармейцам на шинели, рубахи, штаны, работает старушка.

Да как же так: аль другие фабрики стоят?

— Стоят.

— Почему? — Нет дров.

— А старушка как же? — А вот как:

Одной большой фабрике дали дров на станции верст за тридцать от Москвы. Но с условием: погрузить и вывезти в восемнадцать часов. Фабрика отказалась: немислимо в такое короткое время погрузить и выгрузить.

Узнали ребята с нашей фабрики, кликнули клич, выступило шестьдесят рабочих. Кинулись на железную дорогу, сбили состав в тридцать вагонов, марш на станцию. Рвались в работе, погрузили и вывезли в шестнадцать часов. Большая фабрика осталась с носом, а старушка — с дровами. Оттого так весело дымится ее труба, когда другие угрюмо молчат.

На фабрике только рабочие. Директор — рабочий (слесарь), заведующий красильным отделением—рабочий, бухгалтер — рабочий.

Каждую копейку, каждую работу распределяют домовито, по-хозяйски.

Надо ремонт дизелю. Прежде, бывало, машину останавливали, рабочих распускали и приступали к ремонту.

Теперь выудили где-то электромотор, который и трудится, пока починят дизель, фабрика-то и во время ремонта двигателя работает.

Подобралась работа в стригальном, — рабочие не ждут, сложа руки, а становятся у красильных чанов, становятся красильщиками.

Рабочим негде помыться. Разыскали валявшийся годами на дворе бак, налили водой, провели змеевик от паровика, мойся, сколько влезет, любо-дорого.

От чанов с краской густо подымается отрава. Рабочих тошнит, голова идет кругом. При хозяине был ледащенький вентилятор.

А теперь, оберегая себя, поставили еще пять сильных вентиляторов, воздух чистый.

При хозяине в кочегарке валился народ: на топке зноем несет — пот градом катится, а отворят двери прямо наружу, дрова ввозить — страшный сквозняк несет, рубаха леденеет. Выстроили пристрой, навесили вторые двери, свет ясный увидели.

А знаете, как работают? 7% переработки против четырнадцатого года. А знаете, какие прогулы? 2-3%

Так во всем.

Пока еще согнувшаяся старушонка, но дайте срок : раздавят ядовито ползучих эсеров, меньшевиков, окончательно прорвется блокада, и какой же чудесный трудовой дворец воздвигнут мозолистые руки.

Приходите же, товарищи, посмотреть и поучиться, как надо строить новую жизнь.

У ТЕКСТИЛЕЙ

Тридцать пять лет! Да ведь это больше полужизни. Когда оглянешься, только ахнешь: тридцать пять лет прошло!

Совсем молодым,— только на ясный свет глаза протирал,— два царских жандарма, гремя шпорами, привезли меня к Ледовитому океану, в город Мезень. Да одно было только название — город, а всего-то там — улица да два переулка.

Иду в коммуну, где жили политические ссыльные. Знакомлюсь. Бросаются острые, живые, чуть насмешливые глаза, небольшого роста, широкоплечего коренастого ссыльного. Ему лет тридцать пять. В самой поре. Ткач орехово-зуевский. Петр Анисимович Моисеенко.

Это был отец стачки, отец русского революционного рабочего движения. Были и до него стачки. Но это были неорганизованные, стихийные бунты. Стачка же, проведенная на Морозовской фабрике, в Орехово-Зуеве Моисеенком, была первая массовая организованная стачка.

Попы ведут летоисчисление с рождения неведомого, никогда не существовавшего Христа. Русская революция должна вести летоисчисление с первой массовой организованной рабочей стачки, с Морозовской стачки.

Через тридцать пять лет я попадаю здесь, в Москве, в ЦК текстильщиков на заседание фракции. Длинный стол. Около тридцати человек. А в конце стола на почетном месте старик с серебряной головой, и те же живые, острые, молодые глаза, чуть насмешливые, такой же невысокий, рост, такой же широкоплечий, коренастый. Да ведь это же тот самый Анисимыч Моисеенко, отец русской стачки, отец рабочего организованного движения в России.

Я смотрю во все глаза: да так ли? Да не сон ли? А вдругдохну, а этого ничего нет. Да могло ли мне присниться такое в Мезени, у Ледовитого океана, что через тридцать пять лет за длинным столом увижу уже серебряную голову Анисимыча и тридцать человек, тридцать коммунистов, тридцать его революционных сыновей, которые любовно, радостно, преданно чувствуют своего батьку!

И опять смотрю во все глаза: эта серебряная голова — начало, эти тридцать — продолжение одного и того же великого, небывалого в мире революционного дела.

Какое начало! Какое мучительное трудное начало! Среди непроглядной рабочей безграмотной, забитой тьмы начинал молодой Моисеенко. Начинал среди дикого, нечеловеческого царского и хозяйственного произвола. Темные замученные рабочие говорили безнадежно:

— Разве можно у Морозова стачку устроить! Он колдун — не допустит.

Раскачать эту непроглядную тьму стоило неимоверных усилий. Ведь собираться-то могли рабочие только в грязных, вонючих фабричных нужниках тайком, оглядываясь. И там молодой Моисеенко растолковывал им самые простые, азбучные истины: что они должны добиваться возможности жить не собачьей, звериной, а мало-мальски человеческой жизнью. И с нечеловеческими усилиями надо было не дать организованной стачке превратиться в стихийный бунт разрушения.

Вот как начинал молодой Моисеенко.

И я опять смотрю на эти тридцать, на это продолжение. Но какая разительная противоположность обстановки начала и продолжения.

Там — темная, безграмотная, забитая звериной жизнью масса; здесь — дисциплинированные, внутренне страшно выросшие стройные ряды пролетариата, выковавшего величайшую в мире революцию

Там место агитации — вонючий нужник: здесь — лучшие залы, лучшие помещения городов, фабрик, заводов.

Там — безумные, нечеловеческие преследования царских и хозяйских палачей, здесь — в подспорье революционным строителям мощь рабочей революционной власти.

Я смотрел на серебряную голову начинателя и на молодые в расцвете сил лица продолжателей. И тот и другие вышли из самой утробы, из самого нутра пролетариата. И тот особенный практицизм, особая сноровка

ухватить самую сущность дела, самое нутро его, сноровка, так свойственная рабочему, лежит нестираемой печатью на серебряной голове и на революционных лицах продолжателей.

И на каждом лице отпечаток старого, партийной работы, царского подполья, безумного напряжения фронта гражданской войны и неохватимого, ни на минуту неослабевающего напряжения мирного строительства.

Да! обстановка изменилась: нет того элементарного, страшного, что было, когда начинал борьбу этот с серебряной головой молодой старик, но зато как огромно, необъятно все сложилось теперь. Период разрушения, период ударов врагу кончился, наступил невиданный в человеческой истории период строительства. И вся тяжесть, вся ответственность его падает на хозяйственников, на производственников, на тех, что непосредственно регулируют живую силу фабрик.

Страшная ответственность, ибо каждая ошибка, промах бьют не по отдельному производству, а по всей социалистической республике, а, стало быть, по всему ходу мировой революции.

И я вижу на лицах печать рвущихся из всех сил людей: среди развалин, среди хаоса, среди вопиющей недостачи во всем эти тридцать час за часом, день за днем, месяц за месяцем восстанавливают производство.

Папаша текстилей, председатель правления, с застенчивой гордостью подает альбом всевозможных тканей. Я с изумлением разглядываю, — да неужели это теперешнее производство! Сколько изящества, какая отличная выделка!

А давно ли сами рабочие, когда им в счет заработной платы давали продукты их же труда, отказывались брать:

— На кой она нам чорт, эта рогожа!..

Один из товарищей текстилей подсаживается и говорит мне:

— Помните, вы писали про рубаху. Верно писали. Да, да, надо было подтянуться.

Я уже забыл, четыре года прошло, а он помнит. Он помнит каждую мелочь, каждый маленький факт, потому что это относится к производству, в котором вся его душа. В восемнадцатом году я был на фронте и видел: присылают для красноармейцев партию рубах. Красноармеец радостно надевает, а она тут же расползается. Я уже позабыл об этом, а товарищ текстиль помнит: оно сидит в нем, как заноза, он и за прошлое болеет душой.

— Надо было подтянуться, подтянуться надо было, — твердит он.

— Разве это допустимо — подумайте сами.

Да, это текстили впились, как клещи, в свое дело, уж не вырвешь, — мертвая хватка.

И опять гляжу на длинный стол — серебряная голова освещает тридцать революционных строителей — и думаю: да не сон ли это? И не снилось ли когда-то мне то тридцать пять лет тому назад в далекой холодной Мезени?

НЕЗРИМЫЕ ПУТИ

В провесень глядел я. Белели пятна. Иссиня влажно чернели набухшие поля. В овраге буйно гремело, — горланит, несется, точно с цепи. Мелькает пена, вздуваясь на поворотах. Ворочаются вековые камни. И леса безлистные, а сами густосини. И блеск, и трепет, и напоенный воздух.

Я опустился и стал на колени. Все поле раскинулось блещуще и гремуче. Миллиарды капелек беззвучно пробирались бесчисленными невидимыми и неведомыми путями в неподвижный чернозем. И я долго смотрел и не мог уследить миллиарды невидимых и неведомых путей.

Когда я ехал, было то же: избы-читальни, волкомы, организаторы, шефы, товарищи из женотдела, — все это с весенней стремительностью опрокидывало, рвало, ворочало многовековые.

И вот в'ехал в деревушку, к которой три года скачи. Не было слышно ничего, что бы революционно размышало. Коммуну крыли матом. Коммуния — это по ста-

ринке: кому на, кому нет ничего. Сюда не заглядывали еще, не хватило революционно-рабочих сил. Торопливо подошла деревенская женщина, плохо одетая, с батажом. Держась за грядку саней, она торопливо рассказывала, захлебываясь, сбиваясь, болезненно смеясь, и мне впервые трудно было понять. Поодаль враждебно стояли крестьяне, крестьянки, ребятишки. Женщине дали стопку литературы, листовки. Она бережно сунула за пазуху и долго еще выкрикивала вслед уезжающим саям, а потом, когда побежала к своей избе, вся крестьянская громада кинулась за ней в травле, ребятишки улюлюкали.

Товарищи рассказали. Край громадный, шефство маленькое, обслужить всю закоснелую громаду нет сил. Мимо деревень проезжали не заглядывая.

И вот однажды на дороге встретилась эта женщина. Сбивчиво, волнуясь, она долдонила одно:

— Родные мои, болезные мои, иде тут бабонька по бабьим горям?

Товарищ сказала:

— Я, милая.

И полилась горя реченька, горя реченька бездонная, Мужа убили в империалистическую войну. Старшенький ходил по кусочкам, без вести пропал. Младшие все вымерли. Одна, холод, голод. Ругала коммунию со всеми. Да вдруг... Она не могла рассказать, откуда это пришло, когда, как. И никто не мог этого сказать. Только стала она бегать по дорогам, по деревням и в одну душу выпрашивать:

— Иде тут бабонька по бабьим делам?

И ей из саней ответила завернутая в платок девушка:

— Я, милая.

Тут и началось, тут и пошло. Была неграмотная, ходила по дальним деревням, там над ней смеялись, иногда читали ее листовочки, приговаривали:

— Во, разбогатеешь с этой бумагой, приступу к тебе не будет.

В своей деревне улюлюкали, крыли матом; ребятишки гоняли камнями; бабы, поджав губы, шипели по-змеиному.

А через полгода около нее ютилась кучка вдов, бабам нельзя было — били крестьяне смертным боем. А там, глядь, бабы сначала тайком, а потом и явно стали забегать, и крестьяне плюнули, устали бить.

А через год — в деревне изба-читальня; товарищ из женотдела приезжает, и ждут ее не дождутся. Крестьяне ласково снимают шапки, внимательно слушают.

В другой стороне. Деревня по-старинке. Поп в селе. Церковь каменная. У всех передние углы заставлены образами.

И в избах у других крестьянок образа в переднем углу в серебряных, вызолоченных окладах. Богато, счастливо жили. Нигде попы не поджигались так, как в этих счастливых семьях. Ни о какой коммуне и понятия не было.

И вот я сижу в переднем углу, нет, не под образами, а под Лениным, Марксом, Розой, Либкнехтом — и кругом кумач. И с удовольствием, с величайшим удоволь-

ствием слушаю низкий контральтовый голос, красивый голос и певучий:

— Нет, не революционные организации заразили,— сюда или не заглядывали, или заглядывали мало и попусту. —

— А стала я думать, — наполняет избу с красным уголком контральтовый голос,—стала я думать, почему такое. Жили с мужьями хорошо, счастливо, душевно, с избытком. Мужья не пили, работали, подавали в семьи, любовно жили наредкость.

И вот прибрал господь обоих мужьев. Остались мы с ребятами и ни при чем. Куда же денешься — и честь не та и поп рыло воротит. Станешь жалиться, а он: «Пути господни неисповедимы...» Да что же ему жалко что ли смотреть на счастливых людей, — не то, что там грабежом, а трудом живут. И стали меня мучить думки и все об одном, все об одном и том же. Бывалыча придешь с работы — ведь сами с Анной пахали, бабье ли дело, рук не подымешь перекреститься, каменные с устали, почитай и молиться отучились — некогда. Так и висят образа без дела. Ребяток подымать надо. У нас с Анной вроде коммуны: ее дети — мои дети, мои дети — ее дети, вместе подымаем, а про коммунию-то и не слышали, какая она такая. Про революцию так краем уха слышали, да нам без надобности, не наше это дело.

Принесла раз Анна лоскуточек — селедка завернутая. Прочла я на досуге. Там про то, как по деревням вместо образов красные уголки устраивают. Вкинулось мне в голову, почему такое... Ну, про Ленина еще слыжала — хороший, мол, человек, а про Маркса, про Либ-

кнехта, про Розу ничевошеньки не слыхала. Точит думка и пыль на образах забыли стирать.

Раз повезли на железную дорогу картошку продавать. Глянули на вокзале, а там в углу вместо образов — Ленин, Маркс, и красным кумачом обтянуто. Подошел мущина, так из себя полнокровный, и начал говорить про все. Народ стоит, молчит, слушает. Приехали домой, говорю Анне: давай сымем. Сняли. Ленина спервоначалу повесили, одного на коробке нашли. А потом спустя долго — этих. А у меня одно сердце точит: видно, бог позавистовал на счастье людей. На кой он нам. Ну, все от нас отворотились. Пол с амвона проклият.

Она замолчала, суровая, строгая. А я знаю ту борьбу презрения, которую вынесли обе. Теперь-то другое. Теперь их зовут: бабы атаманши. Теперь и крестьяне идут за советом.

Теперь одна — в сельсовете, другая — избач.

Да, революция идет, растапливает, раскалывает, ломает слежавшееся. Но уже назрели тысячи невидимых, незримых путей, по которым революционное просачивается невидимо, незримо, непрослеживаемо, просачивается неорганизованно, стихийно. И, может быть, просачивается в первую голову в бабью долю, в женские думы, в женские мысли. И этот процесс неохватимо ширится: миллиарды тоненько сверкающих капель незримо пробираются сквозь неохватываемые глазом черноземные крупинки. В этом — страшная сила, в этом — будущее.

ЧЕЙ САД

Пришлось мне побывать в Тамбовской губернии. Попал в деревню на сход.

Возле старенькой церкви собирались крестьяне.

Пришла барыня, соседняя помещица, стала плакаться:

— Вот, старики, обираете вы меня — весь сад ваши ребята да бабы оборвали, яблочка покушать не оставили. А за что? А за что вы меня мучаете, тираните?.. Ну вот, вот, как же можно. Вот, говорят, сад теперь не мой. Да как же не мой? Кто же о нем заботился? Кто его хранил? Бывало, и веточку подвяжу, и червячка сниму, и все думаю, все думаю о саде, голова разболится, просто от бессонницы пропала. Нет, он мой, мой сад. Никто не смеет его отнять от меня. Никого не слушаюсь.

— Знамо забота, — слышалось в толпе, — каждое утро видим, как кофею попьешь, зараз и в сад. Забота твоя, а мы, бывало, деревья окапывали, во наломаешься, по полтиннику с рыла, насилу к вечеру до избы доползешь.

— Чего ж вы хотите, старики, ведь я и лопаты не подыму.

— Куды тебе... Не вздюжаешь... — послышалось кругом,
— у тебя, чай, мозоли не растут на руках.

— Ну вот, а вы говорите — сад не мой.

— А как мы по осени яблоки снимаем, — голосисто закричала солдатка Матрена, — на лестнице тянешься до веток за пятнадцать копеек в день.

— Господи, — закричала барыня, — да я и на лестницу не подымусь! А все-таки сад мой. Ведь я каждое деревцо знаю, как сына своего родного.

Вышел из толпы дед Созонт, старый, борода белая, согнулся. Подвигал заросшим волосатым ртом и сказал, глядя на барыню слезящимися глазами:

— Слышь, барыня, дедушка-то твой, упокойничек царство небесное... Бывалыча, сам везде, не то, што там управляющего али приказчика, везде сам, ну суетной был, ну заботливый.

— В него, стало, барыня-то наша, — послышалось из толпы.

— Сад этот самый сажил своими руками, никому не доверял. Бывалыча, выгонит нас староста—крепостными были мы-то, у него-то, а я еще парнем о ту пору был, — выгонит нас, поставит человек тридцать ямы рыть под яблоки, сажать, стало быть, дерева, ну, роем а дедушка твой ходит взад-вперед и плетть у него. Зараз обмеряет яму, мало не дорыл. — «Становись, такой, сякой, на карачки». Ну, куда же деваться, станешь на карачки, он и начнет охаживать плетью, и начнет охаживать, все портки плетью сымет, один голый

зад. Да, и все сам. Не то што там на конюшню ото-
слать, штоб отпороли, а собственноручно, трудолюби-
вый был. Вот мне десятый десяток пошел, а все будто
в заду мне холодно...

Все засмеялись.

— Это теперь, дед, тебе холодно, а тогда, небось,
жарко было.

Барыня приложила платочек к разгоревшемуся
лицу:

— Ну, да кто старое помянет, тому глаз вон.

— Знамо, об старом нечего поминать. Об старом
поминать, — сто глаз будь, все выколешь. Да оно и на
новое глаз не хватит.

КАСТОРКА

Голосят бабы на всю улицу, хоть из деревни беги.

Прилипла молодуха к мерзлой стене лицом, видно только, как плечи вздрагивают.

Другая бьется у крыльца, ухватила за перила. Стоит над нею с клюкой древняя старуха с темным церковным лицом, и ровный, такой же темный от древности голос говорит:

— И-и, больная ты моя, и чего ты боишься, и чего тиранишь себя. Ежели господь призовет ангельскую душку, стало, ей хорошо у раю будет.

А молодуха захлебывается, никак не выговорит:

— Ой, ба... ба-бынька... Ды какой ты хорошенький, мой Миколушка, ды какой ласковенький, ды как он ножечками, рученочками поводил... ды как он гулюшки-то выговаривал... Ой, бабонька, родная ты моя, не жить мне без него.

И опять захлебывается бабочка.

По мороженому скрипучему крыльцу входят в избу и выходят молодые бабы.

А в избе подвешены к темному потолку две люльки. В них лежат маленькие.

Да не говорят гулюшки; не мотают бестолковыми ручонками и ножонками; не пускают весело пузыри маленькими слюнявыми ротиками. Лежит один с желтым личиком, тихонько стонет, как старичок. У другого страшно подкатились глазки под лоб, и выворачивает их неестественно напряжившееся тельце с перекошенным посинелым личиком.

Матери не могут смотреть на своих крохотных.

А возле люлек возится Матрена. Служила она в городе в детской больнице, насмотрелась, как ребятишек лечат, да нечем ей тут взяться, — в городе никаких лекарств нету, а тут и подавно.

— Кабы мне да пузырек какой ни то с слабительным, я б их всех выходила. Эк им животики раздуло. Либо обкормили — матери-то бесперечь кормят. — либо сырой воды дали, вот и пучит.

— Ды этта у них младенческая, — говорит старая покорно, — этта бог послал. Бог дал, бог и взял.

— Эх ты, богова корова! Только и слышать от тебя. Кабы мне зараз слабительное, всех бы выходила.

Она вздохнула и стала прикладывать припарки к животикам ребятишек, — нечего ведь больше делать.

А на дворе уж стало заходить за зимние вербы холодное солнце, а по снегу легли синие тени.

Слышать — с околицы ехали скрипучие сани парой. Бегут заиндеветившие меринки, мотают побелевшими головами.

Под'ехали к избе. Вылез пассажир, откинув поседевший воротник тулупа.

— Да никак этта наш Моисей... — заговорили бабы.

— Я, я и есть.

Вынул из саней увязанную шкатулочку и, припадая на левую хромую ногу, прямо в избу.

— Куда ты, бурхан, ребятишек простудишь, ишь, весь тулуп заиндевел!—закричала Матрена.

— Ну, ну, не серчай, я его в сени кину. А вот тебе привез из города. Пользуй малых.

Открыла шкатулочку Матрена, ахнула: полно было там лекарств.

Засуетилась, кричала:

— Бабы, скорей горячей воды, идите, помогите мне!

Вскипятили воду, развели касторку и стали поить детишек; вычистило им животики, как водой промыло, глядь, ан уж бабы со счастливыми лицами кормят грудью, несут ребятишек; а ребятишки, как важные ба-ры, карячат ручонками и ножонками, весело пускают пузыри, разговаривают, как куры, на своем непонятном языке, сосут материнскую грудь и легонько пощипывают ее мяконькими ноготками.

Моисей, красный, распаренный, чашку за чашкой пьет чай из здорового пузатого самовара.

А уж в избу сбежались бабы со всей деревни, повернуться негде, — какие с ребятами, какие так.

— Ды скажи ты нам, родной ты наш, откуда лекарства привез? Кто, добрый человек, прислал нам?

Моисей вытирает концом полотенца красное, как кумач, лицо, схлебывает, обжигаясь, с горячего блюда и говорит:

— Прислали вам из Швеции.

— Это иде же будет? Далече? Чай, за Москвой?

— Не то что за Москвой, за Питером. Море там потянулось, серое, холодное. Так вот за этим морем шведы живут.

— Ну.

— Ну вот, сестры ваши собрали промеж себя восемьдесят тысяч крон...

— Это чево такое «крон»?..

— Фу-у, да полтина на наши прежние деньги. А теперь крона много сотен наших рублей стоит.

— Ну-у.

— Ну, купили на них всяких лекарств, сестры-то ваши...

— Какие сестры? Не роднились с ними.

— Ну чего же они? Какие они?..

— Ды какие! Такие же, как вы, так же ребяташек баюкают, радуются на них, так же убиваются, ежели захворают, так же труд-работу несут, как вы.

— О-о, родные мои, а мы и не знали. Думали, они бог знает што. А они, как мы, грешные... А они, как горевые.

Моисей осерчал, плюнул с блюдца в угол.

— Дуры, не та мать, которая родила, а которая труд-работу приняла, воспитала. Не та сестра, которая от одного отца, а которая в одном с тобой труде-горе выросла.

— Верно, правильно, Моисеюшка, — загомонили бабы, — дай им, господь, здоровья. Али богато живут?

— Нашли богато, чай, не буржуйки вам прислали, — этим все одно, хоть бы передохли ваши ребята, как щенки. А прислали ваши сестры, трудящиеся ра-

ботницы. А у них, как и у нас, сегодня заработок — завтра сыта с ребятишками. Не заработала, там заболела ай еще чево, — подыхай с голоду со всем с племенем.

Бабы глядели, не отрываясь разинутыми глазами.

— Родной ты наш, ды это они от своего рта кус отрывают, у своих ребят отколупнули?

— Да то и говорю.

Бабы разом заворотили фартуки и стали сморкать-ся и вытирать налившиеся слезами глаза.

— А мы-то, дуры, и впрямь думали, — одни-одинешеньки на белом свете, и никому-то, никому до нас заботушки нету.

— Ан оно вот што. Моисеюшка, родной ты наш, как нам их отблагодарить, али полотенца вышить, послать им, — холсты у нас есть.

— Стой, бабы — один подарок вы можете сделать своим сестрам, сестрам-работницам во всем мире, подарок, которому цены нет: поддержите, укрепите вашу власть, советскую власть. Глядя на вас, по всем странам трудящиеся скинут своих буржуев.

— Ды уж, Моисеюшка, постараемся, из кожи вылезем, а постоим. Все нутро нам сестры наши перевернули. Теперь открытыми глазами глядим на весь свет рабочий.

И тихонько баюкая засыпающих детей, покачиваются бабы и глядят на красного, распаренного, косоглазого, скуластого Моисея, — красавец он, раскрасавец он, писанный.

М И Т Ь К А

Лет одиннадцати, вечно сопливый, с размазанной грязью по лицу — житель улиц. Как птица, постоянно вертит головой и бежит торопливо глазами, щупая дома, калитки, заборы — нет ли где дыры, нельзя ли пролезть.

Все на потребу: жестянки из мусорных ям, бутылки, обрезки кожи, разбитый башмак, проволока, кусок облицованного кирпича. Из всего этого делал то паровозы, то пушки или ведра и таскал воду или песок на берегу Москвы-реки.

Поймал кошку, разбил кирпичом голову, долго мучил и удивлялся, что такая живучая, протыкал палочкой выступивший мозг. Потом из шкурки сделал себе вроде рукавиц и очень гордился, бегая по улицам с мальчишками и громко шмурыгая по промерзшей мостовой остатками разных башмаков из мусорных ям.

Но кошкины рукавицы плохо грели, весь был синезеленый, постоянно дрожал, как кутенок, а под носом вечно блестели серьги.

Когда становилось невтерпеж, шмурыгал домой Подвал был полон непроглядного пара — matka брала мыть белье. И сейчас же клубящийся пар наполнялся визгливым криком, а Митькина голова моталась в скользких мыльных пальцах:

— Сатана оголтелая, да долго ли ты меня мучить будешь, да разнесчастная я...

Потом начинала долго и надрывно кашлять и плевать на мокрый пол кровью, растирала босой ногой, падала на кучу грязного белья и лежала, пока отдышится. Потом Митька таскал воду, наливал в котел, выносил грязную мыльную воду, чистил картошку, возился с малышами — трое кроме него-то еще было.

Два года назад умер отец. Тогда хорошо жили, - два раза в месяц каждую получку мать приносила горло, легкие, а картошку всегда мазали постным маслом; это теперь картошку всегда сухую едят. Да, помер. Тоже так кровью плевал да все валялся на скамейке, и помер. Ну, да Митькино дело сторона, — у него теперь кошинные рукавицы есть.

Весной буза началась — царя спихнули. Раз народ повалил по улицам. И Митька за ними. Добрался до Лубянки, поднялся по водосточной трубе, уцепился за вывеску, глянул и обомлел: вниз к Театральной, и на Театральной, и вдоль Охотного ряда, куда ни глянешь, от стены до стены, от домов до домов народу черным-черно; как тараканы шевелятся и никуда не пролезть, никуда не вылезть. Испугался Митька: неужто со всего свету.

А осенью начали палить из пушек. Ну, тут Митька все на свете забыл, — и матку, и сестренку, и кошинные рукавицы, и мусорные ямы по дворам, — день и ночь он проводил на опустелых улицах, где по под'ездам жались солдаты и рабочие и, припадая на колено, стреляли. И видно было, как в далеком конце улицы сыпалась штукатурка, разлетались стекла окон, перебежали фигуры, и иногда кто-нибудь из них падал.

А здесь тоже от времени до времени что-то цокало в водосточные трубы, в косяки, в стены, и тогда летела штукатурка, в рамы, и тогда брызгали стекла. Случалось и тут кто-нибудь падал со стоном. Его подхватывали, втаскивали в дом. Нырял туда и Митька. Стонущего человека раздевали, клали на стол, который подплавал кровью, перевязывали кровавое место. Митька тут же вертелся, вспоминал кошку, как она судорожно вздрагивала, когда он трогал палочкой выступивший мозг. И этот на столе судорожно дергается, когда прикасаются мокрым полотенцем к кровавой ране.

Митька глядит всем в рот, прислушивается, о чем говорят, подает, что нужно, когда кричат ему. Его тут и подкармливают понемногу. Он слышит, говорят — разведка вернулась ни с чем, и Ваньку открыли и расстреляли.

Тогда он, как угорь, через заборы, дворы, переулки пробирается к юнкерам и приносит сведения: в каких домах по Поварской засели юнкера; где на крышах поставлены пулеметы; а от Смоленского над Москвой-рекой пробирается к Прохоровке.

С Митькой все ласковы, и он в великом восторге.

Он балуется с другими мальчиками, юнкера их гонят, а он назойливо всюду лезет. Раз, сидевшие за забором в засаде, юнкера его жестоко отпороли ремнями, и он долго потом снимал со спины и с зада струпья.

— Митька, не сносить тебе головы, угодишь под пулю.

А он не то что пули не боялся, — боялся, но где-то внутри сидела уверенность — это другие от пули падают, а около него они лишь цокают в стены да в водосточные трубы.

Ночью опять залез в сад, где его два дня назад отодрали. Там никого не было. Гулял мокрый ветер, качал холодные деревья. У Митьки пазуху оттягивали два камня, — хотел запустить из-за забора в засаду юнкеров. Но засады не было. Только в одном месте под деревом, где было черно и жутко, что-то хрипело и клокотало.

Митька вспомнил: так бывало клокотало у отца в глотке, когда он, завалив голову на кровати, спал пьяный. Митька долго смотрел из-за куста сирени, голого, холодного и мокрого, смотрел на черный, похожий на человека сгусток под деревом, откуда шло хриплое клокотанье. Никак нельзя было решить, что это. Дрожа всем телом, стиснув стучащие зубы, он пополз дальше.

Сквозь темноту смутно разглядел: человек прислонился к дереву, ноги протянул по холодной земле, темная голова свесилась на грудь, в горле все так же — то больше, то меньше — клочечет.

Митька в судороге смертельного ужаса подполз, пошарил, нащупал у пояса кобуру, снял, а у человека все так же, то замирая, то усиливаясь, хрипело. Митька вцепился в кобуру и пополз задом назад. Когда вылез из сада и через заборы пробрался в расположение своих, залез за мусорный ящик, присел, вынул из кобуры наган и стал взводить курок. Вдруг страшно ахнуло, осветились доски ящика, Митькины ноги, и опять все мгновенно потухло. Митька на секунду откинулся оглушенный, потом сунул револьвер за пазуху и, придерживая, чтоб не прорвал, пустился через темный двор.

А уж везде тревога. Бегут, гремя прикладами.

— Кто стрелял, откуда, где?

Сцапали.

— Э-э, да это Митька. Митька, кто стрелял?

— Ей-бо, юнкер. Тама за ящиком. Да он убег уж.

Кинулись за ящик, никого не было.

А утром все закричали:

— Митька, чево ты весь в крови? Гля, ребята...

Повели его за ухо в дом, поставили перед зеркалом, он и рот разинул: из зеркала глядит на него, разинувши рот, Митька, и вся рожа у него захватана кровавыми пальцами, и руки в крови. Кругом смеются, толкают его. Он забылся, поднял руки, чтобы вытереть лицо, а наган — бух из-за пазухи на пол. Митька не успел схватить, его здорово отодрали за ухо и отняли револьвер.

А он, поплеывая на ладонь, вытирал лицо и стал рассказывать, как добыл наган.

Когда все кончилось, прибежал в подвал. Мамки не было — стащили на кладбище, сестренку куда-то разобрали.

Теперь — комсомолец и на рабфаке. Живой, веселый, только лицо ввалилось и серое, — доктора говорят: туберкулез.

СИЗЫЙ НОС

В глухой тульской деревне церковь белеется, а рядом бывшее помещичье имение.

Церковь давно-давно помещик построил, и с испокон веков поп учил крестьян смирению, послушанию власти предержащей, учил чтить помазанника божия, царя, и за все горе, за всю нужду, нищету, которые давили крестьян, обещал, что на том свете мужики и бабы будут сидеть под кустами, и райские птицы будут им песни петь.

А сам поп ходил черный, с просторным брюхом, вкусно ел, вкусно пил, построил дом, который было видать верст за десять, наплудил с попадшей кучу ребят и учил их в городах, хорошо поп жил, в довольстве, в сытости жил тут, на грешной земле, и вместе с помещиком не собирался от хорошей жизни сидеть под кустами в раю и слушать райских щеглов, синиц, райских скворцов: от добра добра не ищут.

Все так и шло чередом: дети, бабы, мужики валились от голода, нищеты, болезней, от водки, которую

они пили с отчаяния, нужды и горя, а поп, помахивая кадилом, провожал мертвых в райские кусты, к райским птицам.

Так бы оно и шло, да ахнула революция, помещика и след простыл. Крестьяне поделили помещичью землю и стали пахать. А у попа брюхо поменело, он попрежнему толковал насчет райских кустов и скворцов, только теперь толковал не послушание властям пре-державшим (ненавидел он рабоче-крестьянскую власть и все вспоминал царя и помещика), а толковал о том, что ежели крестьяне о церкви будут заботиться да ему, попу, устроят хорошее тут житье, то крестьяне вольготнее будет житье на том свете под кустами.

Крестьяне почесывали спину и крестились на церковь.

Весной поп говорит:

— Надо, православные, поля окропить, чтоб господь урожай послал.

— Ну-к что ж.

Жил в деревне коммунист из красноармейцев, маленькое хозяйство у него было, работал человек. Услыхал, крестьяне собираются поля кропить, крякнул:

— Эк их дует, волосатых чертей, хабары захотелось набрать!..

И говорит жене:

— Матреша, уйду я в лес, собираются крестьяне поля кропить, увижу, боюсь, не вытерплю, ругнусь. Ну их! Пойду, хворосту нарублю, плетни надо поправить.

Взял топор, ушел.

И надо было случиться греху: ворочается из леса, глядь, крестьяне, крестьянки, ребятишки с попом ворочаются назад, хоругви несут, потные, замученные, в пыли. Эва Палестину какую полями обогнули! Насилу ноги волокут. Не вытерпел коммунист, свалил с плеч вязанку, стал и начал честить:

— Эх вы, дуrolомы косолюбые! Бороды сивые по поясу, а вы чем бы работать да трудиться, у каждого в доме, в хозяйстве бесперечь работы не переделанной, а они, сивые меренья, на палки повздели идолов да бегут с черным боровом, как ошалелые. Али за вас есть кому работать? Хозяйство хочь в раззор пушай, только бы поповскую требуху набить.

Да не вытерпел, пустил их и совсем с попом и с хоругвями крепким слотам. В прежние времена его разорвали бы за такие слова. А теперь... а теперь нагнули все головы, в землю глядят и бегут, и бегут, что есть мочи: поп крест спрятал и боком, все боком старается обежать человека, который стоит возле вязанки хвороста; бабы с хоругвями лупят, только пятки сверкают, а у попа патлы развешаются. Какой-то червячок пополз по деревне, точит крестьянские мысли.

И сидят крестьянки вечером возле изб, семечки лузгают.

— И скажи ты, родная моя, что на свете деется. Видала, как коммунист отчехвостил и батюшку, и стариков, и хоругви святые, а погляди ты, — у православных хлеб, и у него хлеб, у православных скот плодится, и у него плодится.

— Да у него лучше, вишь, письменный какой: вспашет раньше всех, скот у него в теплом хлеву, поит теплой водой, там от коровы хочь залейся молоком. Что ж, али, вправду, ничего там поверху акромья облаков? Чего же бог-то не спалит его огненной колесницей?

Да, стал червячок сомнения под'едать мутные мысли крестьянские.

Пришла зима; напорошила снежку. Собрал поп сход — брюхо у него втрое поменело, стал поджарый, как борзой.

— Православные! Порадейте господа ради господнему храму. Стоит церковь не топлёная, службу невозможно вести. Надо запасти дровец на зиму, обогреть святой храм. Порадейте, православные.

Тут закричали молодые красноармейцы, фабричные ребята, комсомол:

— Нам не нужна твоя церковь, без надобности!.. Мы в нее не ходим... Колдуй там один...

Шутки, смех, и девчата помогают.

Поп повернулся к старикам:

— Православные, что ж это будет? Или пропадать храму божию, неужто вы сыновей ваших не уразумите?

Потупились старики.

— Што ж нам силком штолича их в лес тащить.

— А сами неужто господу не порадеете?

— Да куды же нам — старые, одни мы не сдюжаем.

Ударили морозы, побелели окна. Укутался поп, чем ни попало, а голову подвязал полотенцем, и концы, как заячьи уши, торчат. В пустой церкви несколько стару-

шонок убогих, больше никого. Возглашает поп хриплым, простуженным голосом, да невмоготу: зайдет в алтаре к шкафчику, достанет бутылочку...

...«Отца и сына»... глотнет, пойдет по жилочкам переливаться,— «ну и крепок!»...

Сразу потеплеет в церкви. Только отчего это у батюшки нос весь сизый стал?

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурюю ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но

когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть, отцовских сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество

спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

— Стало быть, не пришел, — проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо не умолкая и с разных сторон повторяло удары:

— А-ах, холодная... — проговорил мальчик, жима-маясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высовывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстиралось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными лесами. Шест перестал доставать дно.

которое далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человеческого, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосая петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того, как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуоб'еденная птица.

— Ах-х ты... — сердито проговорил мальчик, осматривая об'еденную птицу и лисьи следы под деревом, — ладно, уже приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни об'еденные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо стояли сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом

опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную, сплошную массу.

«Как бы не заблудиться», — тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и темный блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в темноте озером стояла такая же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

— Оказия!.. Что будешь делать...

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась крошечная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно

подвигался вперед среди немой тишины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

— Что ж это... никак к берегу не прибьешься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая молчаливая темь, ни одной звезды.

— Аххх ты, бож-жа мой!..—хлопнул себя по бедрам, поплеывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно, где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работать наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую

минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными, детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

— Дядька-а! Силантий-й-й! — закричал он тонким детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти- и-й...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушивался: это были первые звуки, нарушившие давившее мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, треща и кадая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать шестом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилось легкое, почти неуловимое дуновение проснувшегося среди ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послунил палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось,— теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами закрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секунду захватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец берег.

Он дрожал, как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело, запылал, бросая багровый

отсвет ка воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

— Шатун... ах ты... носит тебя нелегкая... — И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошенного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

— О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» — далеко покатилося и отозвалось вместе с свистом по озеру, и опять бесчисленно зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник, и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал итти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерок. Поел тетерок и принялся за мальчиковы ноги, от'ел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а

это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

— Эй, вставай, Митюха, разоспался... солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит, солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи пролетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер

— А я думал медведь.

— Какой медведь?

— Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подомной расселся.

— Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигаешь, он и будет признавать направление.

— Ах, я дурак... и верно... а я зажег смолистый корень да потушил... Ну темь, хоть глаз коли, не видать куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

КАПЛЯ

I

Стояла огромная гора.

Далеко на вершинах ее лежал вечный снег. И лежал, он неподвижно целые века, скованный мертвым холодом. Но каждый раз как всходило солнышко и пригревало вершину, снежинки таяли, и светлые капли, чистые и прозрачные, сбегали на край обрыва и, колеблемые ветром, они с секунду дрожали, отражая в себе открывшийся перед ними невиданный дотоле прекрасный мир: синее небо, горы, ущелья, леса и долины, затянутые фиолетовой дымкой. И сквозь дымку виднелись нивы, пастбища, стада и вдали, едва заметно, жилища людей.

И капля, радостная и тревожная, полная ожидания, по мере того как становилась больше и тяжелее, отрывалась и летела вниз, сверкая всеми цветами радуги. Она была молода, и ей страстно хотелось счастья, и она летела принести его другим, и мир казался ей прекрасным.

Внизу, куда она летела, дымились туманы и веяло мглой и сыростью глухих ущелий. Но ей казалось, что

она вечно будет лететь мимо отвесно уходивших вверх скал, зеленых мхов, темных расщелин, из которых местами, как змеи, свешивались корни.

Вершина уходила вверх, а все, что находилось внизу, становилось яснее, отчетливей. Уже можно было хорошо разглядеть отдельные деревья леса, покрывавшего внизу отлогие горы, а в долинах забелели домики людей; желтея длинными четырехугольниками, выступали засеянные места и бродивший поодаль под присмотром пастухов скот.

Но печальная это была картина. Хлеб с пустым выжженным солнцем колосом стоял, шелестя одной соломой, скот понуро бродил по сгоревшей траве, и люди были печальны и неприветливы—внизу не было воды. Когда-то здесь с горы сбегал шумный поток, орошая всю долину, но много лет назад огромный скалистый обвал загородил ему ложе, и он частью ушел в расщелины, частью изменил направление и стал сбегать по другому скату горы. И здесь внизу воцарились засуха и жажда.

«Полечу я, — сказала себе капля,—полечу я туда, упаду светлой росинкой в чашку цветка или проберусь в колосок пшеницы, освежу их, и они повеселеют, и люди будут благословлять меня, им я принесу счастье, и меня там тоже ждет радость и счастье»...

Только так подумала капелька и радостно полетела быстрее, возле мелькнула скалистая поверхность, и она ударилась о плоский камень и расплылась, как расплывается упавшая слеза.

Это было до того неожиданно, что на мгновение все кругом смешалось и исчезло.

«А... что это, — проговорила она, когда прошло несколько секунд, — что такое случилось?»

Серые скалы, гранитные глыбы мощной грудой недвижно лежали вокруг. Кругом было пусто и дико. Не было видно ни лесов, ни долины, ни людских жилищ, даже дымившие мглой ущелья были далеко внизу. Только на холодном камне вместо радостной, игравшей радугой капельки виднелась расплывшаяся влага.

«Что же это? Куда же делась сила и призраки счастья? Зачем грело солнце, зачем родилась я? Как хочется жить, как хочется воротить прошлое, радостное и тревожное. Всему конец».

И она жила, и тоска, сосущая, смертельная жила с ней.

И, неподвижно нагроможденные, лежали каменные глыбы.

— Тысячелетия лежим мы, придавив тяжкой грудой бока горы, и нет человеческой силы, которая бы поколебала нас, и будем неподвижно лежать, пока стоит мир. Куда же ты, глупая, летела и зачем ты упала сюда? Поделом тебе.

— Если бы только умереть...

Поднялось солнце, обошло гору, передвинуло тень на другую сторону. Жгучие лучи упали на дикий камень, и... капелька высохла.

А солнце подымалось все выше и сильнее пригревало вершину. Снежинки таяли и падали вниз светлыми каплями. Каждая капелька думала долететь до той долины, что виднелась далеко внизу, и падала на дикие скалы, загораживавшие путь, и умирала.

Пришла осень.

Леса зачервонели и стали осыпать листву, и можно было далеко видеть и человека, и зверя между оголившимися деревьями. По утрам лужицы затягивались длинными игольчатыми кристаллами. Прозрачен был воздух, и очертания далеких гор выступали отчетливо и резко.

Солнце стало меньше греть, и снега, лежавшие на вершине, стали все меньше обтаивать. Но в том месте, куда все падали и умирали капельки, проточилась тонкая, невидимая глазу трещина.

«Ну, чтго ж,—подумала скала,—пускай себе»,— и продолжала неподвижно лежать.

Пришел мороз и слегка подморозил воду. На другой день ударил крепкий мороз, и лед внутри скалы расширился, несмотря на нечеловеческое сопротивление, раздалась недвижная гранитная масса, и расщелина побежала через всю скалу до самого низу.

Тяжкий удар пронесся по горе и потряс ее от основания до вершины, и пошло по всем скалам и ущельям:

«Слышите!... слышите!... слышите!...»

«Да, да, да, да... да»... — откликнулось им со всех сторон.

И долго не могли они успокоиться, и ходило, отражаясь и замирая, эхо.

Подняли головы люди, посмотрели вверх и сказали.

— Наверху что-то делается.

А наверху только сделалось то, что скала расселась надвое, и побежали от этой расщелины во все стороны тонкие трещинки.

«Нет, нельзя так,—думала огромная скала,— надо поправить беду».

И стала она засыпать расщелину камнем, галькой и истертым известняком, и поползли туда оползни, и затянули ее всю до самых краев.

«Слежится, и все будет по-старому», — думала она и продолжала оставаться такой же угрюмой, одинокой и неподвижной, дожидаясь зимы.

Пришла зима, и, крутясь, загудели метели.

День и ночь стал валиться снег, и там, где были расщелины, лощины и промоины, росли сугробы, все сравнивая и покрывая, и лишь голые скалы, обвеваемые ветром, уныло и бесплодно подымались среди снежных полей.

Мертво и пусто сделалось кругом, и никто уже тут не думал о будущем, о счастье, не вспоминал прошлого. Даже птицы и звери опустились ниже, в область сосны, ели и кустарников. А высоко вверху в разреженном пространстве, где стоит вечный холод, так же безучастно неслись перистые облачка, которые состояли из тонких ледяных кристаллов.

Раз перистые облака, предвещавшие всегда мороз, спустились ниже и посинели. Потеплела земля. Пошел от нее туман и пар.

Подул с юга ветер и принес оттепель. Порыхлели и грузно осели снежные сугробы. Просочилась сквозь

них натаившая сверху вода, наделала ходов и стала пробираться по расщелинам осевшей скалы, и зажурчали по всем направлениям невидимые ручейки.

III

Мертвые снега и немые неподвижные скалы, нависшие отовсюду, с недоверием и враждебностью смотрели на возрождавшуюся жизнь. И когда пахнуло весенним теплом, нахмурились они, белея занесенными снегом расщелинами.

Рыхлый снег стал нарастать шапками, перегибаясь и нависая с обрыва. А тучи клубились у темени горы. И если б кто-нибудь заглянул сюда, он догадался бы, что творится тут недоброе, готовится грозное. Но сюда никто не заглядывал.

Вот поднялось до зенита солнце и тепло пригрело землю. Накренились снега, не выдержали и рухнули, увлекая за собой обломки скал, гранитные глыбы, тучи гальки и истертого ледниками известняка.

Колоссальной грудой прошел обвал, переворачиваясь в воздухе, и, оставив за собой широкий след, с потрясающим гулом рухнул, и лишь снежное облако закурилось над тем страшным местом. Дрогнули вековые сосны, сронили с ветвей старые иглы, тяжело поднялись с отдаленных вершин орлы, и два охотника, карабкавшиеся у линии вечного снега, оборвались по ледниковой крутизне.

Затаилась пробиравшаяся вода, просочилась сквозь обвал и шумным и веселым ручьем побежала вниз,

унося талый снег, который растаивая наводнил долину и напоил иссохшую землю, жадно поглощавшую влагу

Все покрылось зеленью. Везде проснулась жизнь. Но капельки, те первые капельки, которые упали на бесплодный камень, не видели и не слышали этой пробудившейся жизни, и самые имена их безвестно затерялись.

МЕДВЕДЬ

I

Я жил в маленьком домике на берегу. В одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом и уходя в небо, поднимались горы.

Ближние были густо-зеленые, покрытые дремучими лесами, дальше синели, затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые, как сахар, снеговые хребты..

Леса и горы на Кавказе пустыnnы — редко-редко когда встретишь человека, но там своя жизнь, свое население: бродят легкие грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одинокó разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, все примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всем мире осталась только горсточка на Кавказе да в Бело-вежской пуше.

Много по кавказским горам и лесам своего звериного и птичьего населения, — охотнику тут раздолье, Много и гадов всяких: в траве, в каменистых щелях извиваются гадюки; на камнях выползают греться скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, многоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами.

II

Рано утром, еще солнце не вставало, я вскинул охотничий мешок с провизией, надел ремень с полевым биноклем, взял ружье и вышел.

Море только что проснулось, было светлое, покойное и еле заметно дымил тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко, ласково шуршал, чуть набегая на мокрые голыши тонкой, растекающейся зеленоватой влагой. Косо белели вдали, не разберешь — крылья ли чаек, рыбачьи ли паруса.

Я пошел по знакомой тропинке, серо ухидившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно-дрожащей росы.

Долго я шел, подымаясь выше и выше. На тропинке, загораживая ее всю, показалась маленькая горская лошадь. Ее не видно было под огромными перекинутыми через деревянное голое седло чувалами, набитыми древесным углем. За ней, так же осторожно и привычно ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три

лошади с качающимися по бокам огромными чучалами.

На четвертой, свесив длинные ноги почти до земли, ехал мой знакомый грузин Давид Магарадзе.

Увидя меня, он улыбнулся, ласково и приветливо кивая головой, и заговорил, останавливая лошадь, чисто по-русски, лишь с легким акцентом:

— Здравствуйте. На охоту собрались?

Передние лошади сами остановились, и от дыхания чуть шевелились по бокам огромные чучалы, а на белый хрящеватый камень тоненькой струйкой сыпалась с перерывами угольная пыль.

— Эх, вот работа у меня сейчас, а то бы с вами отправился. На Мзымте сейчас стадо коз видел, так и полыхнули в горы, только камни посыпались.

У Давида горели черные глаза — он был страстный охотник.

— А в монастыре все просят, чтоб с ружьем притти — медведи одолевают, сад весь пообломали. Счастливой охоты. Г-а... о-о!.. — гортанно крикнул он.

Шевельнулись чучалы, тронулась передняя лошадь, за ней вторая, третья, поехал и Давид, подталкивая ногами под брюхо, ласково кивая мне головой. Вот на повороте на минуту показались растопыренные по бокам чучалы, скрылись. Я остался один. Откуда-то издалека донесся голос Давида:

— А в монастырь зайдите — просили.

Деревья неподвижно стояли; в ветвях гомозились птицы; верхушки тронуло взошедшее солнце.

Я долго карабкался, хватаясь за ветви и выступавшие корни. Из-под ног срывались камешки и долго,

прыгая, катились вниз, а со лба падали крупные капли пота.

Ничего не попадалось. Раз только, когда я сидел, отдыхая и сдерживая торопливое дыхание, за ветвями шевельнулось что-то живое. Оно с минуту оставалось неподвижным, точно прислушиваясь, потом мелькнуло в просвете зелени бурым пятном и пропало, и ветки на том месте слабо колыхались.

Я снова стал карабкаться и часа через два, задышав, с бьющимся сердцем, выбрался из лесу на каменную площадку. Далеко-далеко внизу расстиралось синее море.

Кругом стояли скалы, старые, потрескавшиеся. Высоко из расщелины отвесной скалы тянулась, протягивая корявые ветви, уродливая сосенка. Кто знает, как ее занесло туда и как она держалась на бесплодном камне. Гигантские обломки были причудливо наворочены. Как будто жили здесь некогда великаны и стали строить невиданные жилища. Посрывали с гор каменистые верхушки, сбросили и нагромодили, да потом раздумали и ушли. Так мертво все и осталось, лишь из расщелины одиноко протягивала уродливые руки корявая сосенка.

Я осторожно прошел между камнями. Площадка обрывалась отвесным ущельем. Далеко внизу белело уступами ложе высохшего ручья.

На одном из уступов что-то темнело.

Присмотрелся — медведь. Он лежал на брюхе, растопырив лапы, и, свесив у края голову, глядел в глубину ущелья. Было что-то там для него интересное,

потому что он то и дело с боку на бок по-щенячьи поворачивал голову. Это было так смешно, что я чуть не расхохотался.

По его примеру я лег грудью на край, тоже свесил голову, наблюдая его, и приготовил винтовку. А медведь все так же внимательно, ничего не подозревая, рассматривал что-то в ущельи.

Я положил винтовку на край, приладил и, прижав щеку к ложу, прицелился.

Круглая темная голова пришлась на мушку. Нажал, меня толкнуло, а по горам гулко, с рокотом пошел гром.

Когда дымок оттянуло, на уступе никого не было-видно, упал в глубину ущелья.

Прямо нельзя было спуститься — стены совершенно отвесны. И я, задыхаясь от волнения, побежал в обход. Долго пришлось бежать. Наконец спустился и пошел вверх по ущелью. Дохожу до отвесной стены, с которой упал медведь, уступ едва виднелся на огромной высоте.

Возле, обрызгав камни кровью, неподвижно лежал медведь. Но разве это тот медведь! Тот так смешно поворачивал из стороны в сторону круглую голову с короткими ушами, столько было напряженного любопытства во всем крепком, мускулистом теле, столько было в нем жизни. А этот неподвижно лежал тушей с острым запахом крови...

Я постоял и пошел прочь.

Выбрался из ущелья, перевалил горный отрог, — и среди синевших гор в лесной долине открылся белев-

ший кельями, с церковью с золотым крестом монастырь.

Монахи богатейшее место выбрали себе и, как раздувшиеся пьявки, сосали богомольцев, которые валом валили в монастырь.

Звенели, золотисто мелькая, пчелы.

Подошел упитанный монах в скуфейке, поздоровался и сказал:

— Одолевают, одолевают нас медведи, просто сладу нету. Чуть отвернешься ночью, двух-трех ульев нету, заберется, повалит и лапой все выгребет. И не укараулишь, — хитрые.

— Мне Давид говорил. С углем я его встретил. — А далеко встретили?

— Да только что от себя стал подыматься.

— Он вчера у нас был с углем. Просили его. Говорит, ружья не захватил, дома.

— А отчего же вы сами не стреляете их? Тут у вас раздолье, охота великолепная.

Монах присел на срубленный пенёк, и жир набежал у него складками на шее и на животе.

— Нам нельзя. Устав монастырский не велит оружия в руки брать, не токмо кровь живую проливать.

«Да,—подумал я, — а обжираться можно, а тьму кромешную в народе сеять можно».

Помолчали, потом монах сказал:

— Вам можно, вы в миру. Вот садитесь сегодня в засаду, ночи лунные, чудесные. В том конце сада сливы поспели, так туда стали таскаться — все деревья обломали.

III

Вечером, когда взошла луна, и сад, и лес, и горы стали волшебными. Всюду голубые тени, в просветах листвы лунное сияние, деревья стоят, как очарованные, и на верхушках голубовато-облитых гор зубчато чернеют леса.

Отчего все так таинственно, непонятно, все иначе, чем днем?

Я лежу на спине в густом малиннике на охапке душистой травы, которую нарвал на пчельнике. Надо мной бездонный синий океан, и на нем высоко сияющая луна. И в ее сиянии звезды побледнели и попрятались.

Иногда наплывет жемчужное облачко, покроет, сквозя, луну. Луна бежит в одну сторону, облачко в другую.

Облачко дымчато растет, а луна опять одна и сияет в беспредельном синем океане.

Я осторожно раздвигаю малинник; таинственно стоят черные деревья с простертыми ветвями, и все в одну сторону тянутся по земле тени.

Ни звука, ни шороха. Изредка в это сонное молчание сонно, дремотно впивается томительный крик маленькой совы, сплюшки, невидимо летающей: «сплю-у... сплю-у...» Или донесется вой, визг и крики — шакалы возятся в лесу.

Винтовка лежит возле меня. Я завожу веки, надоело ждать, а когда открываю, все то же: молчание,

покой и сияющая луна, но тени на земле передвинутись — время идет.

«Нет, видно, Михаил Иванович сегодня не заявится».

Я решил подождать, пока луна спустится к самому лесу, и тогда уходить.

Подымаю глаза — под деревом стоит человек. Присматриваюсь — медведь на задних лапах. Он внимательно глядит в мою сторону. Я затаил дыхание. Долго он глядел, нюхая воздух. Потом, не спеша, опустился на передние лапы, подошел к дереву и обнюхал его со всех сторон. Опять поднялся неуклюже, неуклюже облапил дерево и полез. В его фигуре, в движениях была медлительность, медвежья неповоротливость, но не успел я глазом моргнуть, как он очутился на дереве и уселся на развилке ветвей.

Дерево низенькое, и мне отлично видно каждое движение медведя. Я не трогал винтовки — не буду стрелять, еще успею, посмотрю, что будет.

Медведь помахивал к себе лапой, очевидно, ловил сливы, но никак не мог поймать: ветки тонкие, а сливы на концах веток, и когда он нагибался, все трещало и гнулось, никак Мишка не достанет слив. Он поворочался, прислушался, потом, захватив два толстые сука, стал с силой трясти все дерево. Сливы посыпались, как дождь.

В ту же минуту я услышал торопливое чавканье под деревом. Глядь, а там целое семейство—и большое семейство—диких свиней. Там были и папаша с мамашей, и дедушка с бабушкой, старые, с хриплым хрю-

каньем, и целый выводок поросят, больших и маленьких. Все они торопливо подбирали с земли сливы, вкусно чавкая.

Медведь еще два раза сильно потряхнул дерево и стал спускаться, перехватывая ствол лапами.

Только коснулся земли, свиньи прыснули в кусты, и медведь с удивлением стал обнюхивать пустую землю, всю запятнанную запахом свиных следов. Походил, походил, посмотрел в одну сторону, в другую — никого. Лишь круглая ясная луна на высоком небе, да горы неровно вырезаются зубчатым лесом на верхушках, да голубые тени от деревьев еще более передвинулись.

Мишка недовольно поурчал и опять полез на дерево, а свиньи тут как тут, все расположились кольцом, осторожно похрюкивая в ожидании. Медведь глянул на них вниз и опять сердито заурчал: «свиньи, — мол, — по-свински и поступают...» И, охватив сук, снова с силой потряхнул, сливы посыпались, шлепая о землю.

Медведь, не теряя ни секунды, неуклюже и в то же время с поразительной быстротой стал спускаться. Я глянул, ухватил зубами пальцы и стал кусать — до того уморительна была его фигура. Хохот меня душил.

Но как ни проворен был Мишка, свиньи оказались проворнее: когда он спустился, на земле были только их следы, а сами они рассыпались по кустам, подобрав до одной все сливы.

Медведь долго ходил, качая головой, сердито урча, на все корки ругал свиней и свиную их породу. Стано-

вился на задние лапы, долго смотрел в кусты. Было тихо, молчаливо и пустынно. Все залито с одной стороны лунным светом, с другой — лежали густые тени.

Опять походил, качая головой, и, неодобрительно урча, грозил кому-то. И полез на дерево в третий раз. А свиньи уж стоят кольцом вокруг дерева в ожидании.

Медведь глянул на них сердито и не спешил трясти. Долго он возился, примащиваясь, потом захрустел косточкой, достал-таки, видно, сливу лапой.

Опять схватился за сук, тряхнул и в ту же секунду повалился сверху прямо на свиней. Они с отчаянным визгом кинулись бежать, а я неудержимо расхохотался на весь сад.

Когда поднялся, не было ни медведя, ни свиней.

Стояла одинокая ободранная слива. Сад спал. Спали голубовато залитые горы, все так же чернея на хребтах зубчатым лесом.

«Сплю-у..., сплю-у...» — мягко, томительно пронесется в неподвижном, тоже насыщенном лунным светом ночном воздухе, или завоются с визгом и хохотом в лесу шакалы, и опять тишина, и сияние неспящей луны, и горы, и неподвижный сад.

А мне радостно и весело, беспричинно радостно и весело.

Хочется опять хохотать, когда вспомнишь неуклюжий с подогнутыми лапами куцый зад медведя, повисший над свиньями, и как он вдруг повалился прямо на свиного дедушку, и как отчаянно завизжали не ожидавшие ничего подобного свиньи.

Мишка, живой, неуклюжий и такой проворный и ловкий в своей неуклюжести, разгуливает теперь в лесу и урчит добродушно-сердито, вспоминая свою ссору со свиньями и их неделикатность по отношению к нему.

Пойду спать. Чудесно выплюсь. Пусть монах поворчит, ничего. Месяц уже касается деревьев, он тоже хочет спать: все кругом потемнело.

МИШКА - УПЫРЬ

Как только Мишка-упырь протер глаза, первое был гудок, ровный, настойчивый, непрерывно гудящий в утренней темноте, и первой проснувшейся мыслью было сейчас же незаметно выскользнуть из дому. Но чтобы не обратить на себя внимание, неподвижно лежал под своими лохмотьями.

В углях, в окнах еще стоит редеющая темнота. Слышен надрывающийся отцовский кашель; смутно чернеет его фигура над лоханкой, — нагнувшись, умывается. По тому, как гремит кружкой, кряхтит и кашляет. Мишка чувствует, что отец зол, не выспался.

Мать торопливо готовит поесть отцу, просыпаются ребятишки, и в заполненной духотой комнате—зевота, бормотанье, всхлипывание, плач маленьких детей.

Отец ушел, но гудок все так же упорно стоит за обозначившимися переплетами посветлевших окон. Кажется, ему и конца не будет.

— Ну, ты... барин!.. Долго будешь вылеживаться?..

Больно раздаются два шлепка, и жесткая рука матери срывает с Мишки лохмотья. Он подымается из

своего угла, скребет голову и тянет умышленно гнусавым, плачущим голосом:

— Ну, чего бьешься?.. Гы-ы-ы!..

Мать хлопочет, непрерывно бранясь и крича на ребятишек. Мишка размазывает из кружки воду по лицу, вытирается рукавом рубашки и, как волчонок, бросает быстрый взгляд на дверь.

— И не думай, и выкинь из головы! — кричит мать злым больным голосом. — Ежели уйдешь, и не приходи, запорю, до смерти забью...

Мишка со вздохом скребет голову. Уйдет мать на поденщину, а ему возиться с ребятишками, глядеть за печкой, за борщом, натаскать воды, подмести комнату, — так каждый день.

И он стал выгребать золу из печки, а сам напряженно, ни на минуту не ослабляя острого внимания, глядит на дверь.

— Пойди, принеси щепы.

Мишка бросается, — щепы за дверью.

Смутно темнея и суживаясь, уходит в чернеющую даль молчаливый коридор со множеством дверей. Скупая пропуская свет, насупленно глядят запыленные грязные окна. На веревочках развешано рваное белье; темнеют разбитые ящики с разным хламом.

Слабый, старчески хрипящий кашель странно вяжется с этим угрюмым, темным молчанием, настойчиво и без отдыха нарушая его. Старушка, качая головой, шаркая ногами, идет с ведерком, должно быть, за водой. Она тихо идет мимо молчаливых дверей, — все на работе, и в квартирах только старый да малый, — и

долго ее кашель надрывается наперекор прислушивающемуся молчанию.

Мишка смотрит, как тонет она неверно и колеблясь во мгле пропадающего коридора, потом набирает щепы, перегибаясь назад, идет, берется за ручку двери...

Кто-то невидимый, смеющийся, смелый и веселый шепчет, тянет в коридор и шепчет. Мишка не может разобрать, в ушах стоит: «Забью... запорю до смерти...»

Он отворачивается от зовущих скудным светом окон, берется за ручку, тянет дверь и вдруг бросает на пол с упреком белеющую щепу и что есть духу пускается по коридору.

Одна из бесчисленных дверей открывается, выходит какой-то человек и сердито идет по коридору, но на бегущего во весь дух мальчика не обращает внимания.

Окно в конце коридора все ближе, яснее. Вот и лестница, и, стиснув зубы, рискуя сломать шею, Мишка прыгает через две-три ступени, пока темный пролет лестницы уже весь над ним, и с визгом открывается дверь на улицу.

Серое холодное сырое утро.

Чернеет кое-где грязный, не успевший потаять снег. Гудок смолк. На улице никого.

Мишка стоит поеживаясь. Знает, мать не погонится за ним,—все равно не поймает. И, подшмурыгивая носом, осторожно ступает по недавно протоптанным среди весенней грязи тропкам.

Дома узко и тесно сдвинулись, облупленные, хмурые. Угрюмо глядят слепые окна, зияя разбитыми стеклами, заткнутые тряпками, заклеенные грязной бумагой.

Мишка идет, соображая. Гул, смутный и тяжелый, все вырастает, тяжело колеблется. А когда переулочек обрывается, неумолкаемый грохот бешено рвется из громадных, занесенных копотью окон почернелого корпуса. Дрожат стены, звенят стекла.

Все черно: земля, ограда, двор, ворота. Из гигантских почернелых труб зимой и летом, весной и осенью валит черный дым, мешаясь с низкими тучами. Даже деревья стоят чахлые, черные, а неуспевший местами потаять снег — как грязь.

Люди ходят с хмурыми темными лицами,—оттого ли, что на все садится копоть, или оттого, что они никогда не улыбаются.

А не улыбаются, вероятно, оттого, что на фабрике стоит ни на минуту не слабеющий, тяжело грохочущий гул, все подавляя — смех и говор и голоса, и люди объясняются знаками.

Тысячи веретен, мелькая в безумном кружении, гудят все ту же нескончаемую воющую песню. Тысячи челноков снуют взад и вперед, и свист и чоканье носят в буре звуков, а сотни колоссальных передаточных ремней, тяжело колеблясь и гоня темный ветер, неуловимо несутся по шкивам с зловещим шопотом и бормотаньем, от которого трясутся стены и мучительно дрожит пол. Темные фигуры среди машин, станков, среди грохота, свиста, визга, среди безумно крутящейся пыли, среди неумолкаемого беснования...

Гул несется от фабрики и тяжело стоит над всем околотком, как стоит над ним вечная дымная мгла, и солнце глядит тусклое и медное.

Все что-то соображая, Мишка подошел к воротам и весь, как молодой волчонок, оцетинился и сжался, точно приготовился к прыжку.

На воротах висел огромный замок, а около полуотворенной калиточки неподвижно сидел сторож — Каменная Баба, как его звали на фабрике.

Он сидел, как каменное изваяние, в том самом ар-халуке, в котором сидел ночь. Сколько рабочих ни перебивало на фабрике, они всегда его видели неподвижно сидящим у калиточки. Могли остановиться все машины, сгореть фабрика, порастить травой опустелый двор, а Каменная Баба попрежнему невозмутимо сидел бы у полуприотворенной калиточки. Забыл он о своей деревне, семьи у него не было, а была маленькая каморочка у самых ворот. Он как следует даже не знал, как и что работали на фабрике, а одно только видел — калитку, через которую никто не должен был проходить без пропуска от конторы.

Мишка стал перед ним, заложив два пальца в рот, и свистнул так, что даже фабричный гул, неумолкаемо грохотавший из окон, не успел поглотить, но Каменная Баба головы не повернул.

— Али тебе шерстью уши заложило?

Все тот же рвущийся, победный, грохочущий гул.

Мишка вдруг сел на корточки в двух шагах и, умильно глядя горевшими, как у волчонка, глазами, заговорил, крепко нажимая голосом, чтоб было слышно:

— Дяденька, пусти... вот те Христос... провалиться мне скрозь землю, матка послала к тятке...

Все так же грохотали занесенные копотью огромные окна.

— Лопни мои глаза!.. чтоб мне завтрашнего дня не дожидаться!.. чтоб с меня шкура слезла!.. чтоб меня вывернуло наизнанку...

Маленький и подвижный, как комочек, он извивался, клялся, божился, а Каменная Баба так же неподвижно и молча сидел.

— ...чтоб те ни дна, ни покрышки... чтоб те собаки ноги от'ели... чтоб у тебя пузо лопнуло да вытекло... чтоб...

Баба поднялся, огромный, как бегемот, и тяжелый верблужий архалук падал неуклюжими складками, шагнул и нагнулся, хватая шершавой заскорузлой рукой за ухо, но Мишка с визгом откатился, вскочил, а Баба опять неподвижно сидел, как каменный.

— Истукан!.. идол проклятый!.. морда каменная!.. Воробьи на тебе гнезда вьют, — всю морду опакостили!.. Полкан цепной... ну-ка загавкай... загавкай, загавкай... Ты умеешь...

Мишка вертелся перед ним, как выюн, бросая самые замысловатые обидные прозвища.

Баба поднялся, скинул и аккуратно сложил на скамеечке архалук. Мишка мгновенно пустился бежать. Он бежал, сколько позволяли ноги, стиснув зубы, наклонив голову, с раздувшимися ноздрями, не оглядываясь, не разбирая луж и грязи, бежал вдоль закопченной отрады, и неумолкаемо ревевший гул метался над ним. Клубы дыма черно расплывались мглой. И нельзя было разобрать: нето это облака висели, седые, оди-

наковые, нето вечная, никогда не проходящая дымная мгла. Завернул за угол, потом еще — и остановился.

Сразу стало скучно и вяло. Никого. Из-под ограды черная вонючая жидкость, жирно блестя, полосами стекала под обрыв... Под обрывом сплошь подвигалась река, играя радужными побежалыми цветами, тонко подернутая слоем нефти, масла и красок. Скучно глядели с той стороны серыми крышами домишки пригородной слободы.

Мишка опустился на землю и лениво ковырял грязь. Бурое солнышко стало пригревать. Мальчик ни о чем не думал, не вспоминал. Как будто не было фабрики, дыма, Каменной Бабы. Уплыл куда-то неумолкаемый гул. Мишка был один на всем свете, и было ему все равно.

Он не знал, сколько так сидел и ковырял грязь. Некуда было итти и нечего было делать.

Поднял голову: река тихонько подвигалась вниз, грязная, мутная, играя радугой, как мыльные пузыри из бани. Воняла черная жидкость, медленно вытекавшая из-под ограды...

Есть хочется.

Крепко подтянул поясок у штанов. Фабрика без умолку грохотала.

Мишка поднялся, внимательно оглянулся, и глаза у него загорелись.

Был он худенький, тщедушный, и никто бы ему не дал больше семи, а ему было девять лет. Но когда напрягалось все маленькое тельце, готовясь на опасное дело, и загорались глаза, он казался старше своих лет.

Озираясь, крадучись, кошачьими шагами подошел к каменной ограде и заглянул в пробитое внизу отверстие, откуда зловонно вытекала черная лоснящаяся жижа. Нестерпимо пахнуло в лицо. Мальчик отшатнулся.

— Пропадешь!..

С секунду стоял в нерешительности и вдруг опустился и с отчаянием пополз в дыру. Узкая, сдавленная сверху неровно нависшими кирпичами, она медленно дышала ему в лицо густым сладковато-тепловатым смрадом, и противоположное отверстие тускло просвечивало в густом зловонии. Мишка протискивался, обдирая голову о кирпичи, но жижа касалась подбородка. Захватило дыхание, и желудок, выворачиваясь, забился в судорогах рвоты.

Все поплыло кругом, и, зажав зубы и не дыша, с отчаянием протискивался дальше, болтаясь в жиже руками и ногами и почти ложась в нее животом.

Не хватило сил задерживать дольше дыхание, и он готов уже былдохнуть тяжелым смрадом, как голова просунулась, широко раздвинулся огромный двор, застроенный складами, амбарами, сараями. На другом конце грохотала фабрика в безумном напряжении работы. У складов суетились люди, выгружали и нагружали тюки, в'езжали и выезжали подводы.

Мишка торопливо поднялся и, согнувшись, пробежал и присел за возвышавшейся громадной грудой каменного угля.

Какой-то человек стоял на подводе, показывал рукой и, должно быть, кричал. Может быть, кричал, что

Мишка прятался за углем, все равно, — фабрика всепокрывающим гулом глотала голос, и видно было только: человек кивал головой, и протягивалась рука.

Из зияющих дверей фабрики выкатывали вагонетки, нагруженные тюками товара, и торопливые потные и грязные рабочие бегом толкали их, но немо катились чугунные колеса по рельсам, не слышно было криков, переговоров, восклицаний, — все бесследно тонуло в ненасытимом, безбрежном грохоте.

Мишка отдышался. Перестало тошнить. Вытер ноги и руки о землю. Крадучись, останавливаясь, присматриваясь, чувствуя, как все дрожит от гудящей земли, пополз вдоль ограды в дальний конец двора, где стояли конюшни.

Тут никого не было, только перед открытыми дверьми, откуда пахло свежим конским навозом, сидел на обрубке рыжебородый Созонт, конюх, и починял сбрую. Он гнусавил песню, рыжая борода и усы двигались, и мерно разводил руками, протаскивая сквозь зажатый коленями хомут дратву.

Мишка прижался за кадучкой с затхлой дождевой водой и, не опуская лисьих хитрых глаз, наблюдал за Созонтом. Тот все разводил руками, гнусавя под нос себе. Из дверей конюшни темно глядели пустые станки, — фабричные лошади были в разгоне. Только в дальнем углу круглился гнедой круп и белела забинтованная нога.

Среди гула, грохота, суеты, движения, среди черных фабричных корпусов, среди мглы, вечно сающейся на людей, на здания, на деревья, на улицы, этот спокойный

уголок, — где прело пахло навозом, глядел широкий добродушный зад лошади и разводил руками рыжебородый Созонт, — веял покоем, отдыхом, тишиной. Хотелось завалиться на сене, закрыть глаза и слушать, как мерно жует лошадь.

Но Мишка так же внимательно, остро, не спуская глаз, наблюдал за Созонтом.

Время шло. Медное солнце стояло уже над черными крышами.

Голод щемил в животе, и было неудобно лежать за кадушкой.

Иногда Созонт подымался, и Мишка с радостным напряжением впивался в него, но он переворачивал хомут и снова начинал тачать.

— И конца этому не будет. У... ты, пес рыжий!.. Не сдохнешь ты со своим хомутом... прилип, окаянный!..

Созонт кончил, встряхнул, посидел, разглядывая работу, потом поднялся и лениво понес хомут в сарай, где висела сбруя.

Мишка мгновенно, как хореk в курятнике, юркнул в конюшню. В полутемноте остро пахло свежим навозом. Фабричный гул дрожал ослабленный, и слышно было, как жевал гнедой. Смутно выступали деревянные стенки станков, избитые и изгрызенные лошадьми. Из оконца косо тянулась солнечная полоса, и в ней плавали золотившиеся пылинки. Влетали и с веселым чирканьем вылетали ласточки.

Неслышно ступая по мягкому податливому навозу, Мишка пробрался к закрому, где хранился овес. Туго обмотал штаны внизу у ступни и подпоясался. По самое

плечо погрузил руку в мягко, с сухим ласковым шорохом расстулавшееся зерно и с наслаждением стал выбирать и сыпать за пазуху и за штаны. Жует гнедой, чирикают вверх, влетая, ласточки, возится в сарае Созонт. Опять прошел, сел у входа на обрубке, гнуса-вит песню и, должно быть, шьет.

— «А-а... красный идол... завыл... Повой... по-вой...» — И Мишка злорадно и с торжеством торопливо набивает за пазуху и за штаны сыпучее жестковатое с особенным пыльным запахом зерно. Рубаха и штаны у него отдулись, и весь он стал круглым и толстым. Ему очень хотелось пронзительно свистнуть и громко закричать победным голосом, но он полушопотом продолжал ругать Созонта.

— Гнусавый пень... Ха-ха-ха!.. Как вскинешься, каковса недохватка будет... а-а! Так, так, так... Завертишься волчком — кто взял?.. Поминай, как звали...

Когда уже некуда было класть, Мишка отряхнулся, как кот, подтянул пояс, огляделся, цепко схватился за лестницу на сеновал, но на сеновал не полез, а осторожно балансируя, пополз по перекинутой через всю конюшню в темноте над станками балке. Когда долез до места, где внизу смутно выделялся гнедой, белея забинтованной ногой и мерно жуя сено, растянулся на животе поверх балки и прислушался: за стенами смутно дрожал гул, неумолчно чирикали ласточки, гнусавил у дверей песню Созонт.

Хитро ухмыляясь, Мишка напряженно охватил ногами балку и разом повис вниз головой. Гнедой беспокойно покосился, блеснув в полутемноте глазом, и

затоптался, подымая больную ногу. Мишка ухватился за хвост и что есть силы несколько раз дернул. Лошадь испуганно забилась.

— Тпру-у... сто-ой!.. Разыгрался!..—донесся от дверей сердитый окрик.

Все стихло. Дрожал гул, золотилась полоса из оконца.

Мишка, как летучая мышь, неподвижно висел вниз головой, охватив балку ногами.

Снова гнусавит Созонт, возится с сбруей. Гнедой испуганно забился, наполняя беспокойным шумом конюшню, а у Мишки в руках целый пук волос из хвоста.

За дверьми замолкло, потом слышны тяжелые шаги. Мишка одним махом вскидывает и кладет вдоль балки свое неподвижно вытянутое, как струна, тело. А внизу голос:

— Сто-ой!.. Ну, чего... Тпру... дурак... Чего испугался?.. Гляди, ногу разобьешь... Чисто дурак!..

Созонт осмотрел ногу, заглянул в другие станки, постоял, почесал в затылке. Мишка неподвижно лежит, но каждый мускул дрожит у него от напряженного, торжествующего, беззвучного, подавленного смеха. Если Созонт откроет его, убьет, как убил в позапрошлом году забравшегося в конюшню мальчика, который через две недели умер от побоев. И тем больше разбирает Мишку торжествующее злорадство.

Созонт ушел, но уже не слышно песни, а слышно, как молча возится со шлеей. Мишка повис, и гнедой опять бешено забился в станке, храпя и стараясь сорваться с привязи.

— Да что за чорт!.. Что такое?.. Что за оказия?!. Крысы али ласка забралась?.. Чудеса!..

По всей конюшне тяжелые сердитые шаги. Опять заглядывает по станкам, во все углы.

— Что за оказия!.. И что такое?.. Тьфу ты, прости господи!..

«Ха-ха-ха... Так, так, так... Накось, выкуси!.. Ха-ха-ха!..»

Мишку рвет бешеный смех, но в конюшне только подавленный гул да тяжелые сердитые ищущие шаги.

«...Ха-ха-ха!.. а-а!.. та-та-та... дубина красная!..»

И вдруг холодный пот охватывает: он слышит— тоненькой струйкой сыплется вниз из штанов овес.

Заскрипела лестница на сеновал, выше и выше. Смутно обрисовалась в полутемноте темная голова, плечи; всматривается. У Мишки замерло, перестало биться сердце. Маленькое вытянутое тельце с раздувшейся от овса рубахой и штанами приросло к балке. А овес сыплется. Скосив глаза, видит страшную темную без лица голову. И ему страстно, мучительно хочется быть за оградой, прибежать домой и сказать: «Батько!.. мамка!..», приткнуться на лавке... Как хорошо дома!..

Темная голова все так же страшно неподвижна. Должно быть, увидел. Мальчик задерживает дыхание и весь замирает в судороге ожидания.

Голова шевельнулась, стала понижаться; заскрипела лестница, потом все стихло. Только тяжелые сердитые шаги по конюшне, да сдавленный гул, да ласточки беззаботно щебечут, на мгновенье сверкая в оконце.

Мишка с облегчением вздохнул и отер холодный пот со лба.

Слышно — Созонт прошел к дверям и опять молча и сердито принялся за шлею.

Беззвучно, гибким движением подымается Мишка, пробирается по балке и через слуховое окно на сеновале выбирается в переулок.

Разом хватает недремлющий гул. Крепко, совсем по-весеннему пригревает дымно-красное солнце. На улице никого, все там, откуда несется неутешимый грохот.

Чувствуя, как покусывает за пазухой голое тело овес, и радостно ощущая его тяжесть, Мишка, поглядывая вперед и назад, пробирается на угол двух сходящихся тесных переулков.

На углу по обеим сторонам входной двери висят две вывески, на одной слабо выделяются потускневшими, облупившимися красками свечи, сахарная голова, разные банки, чай и многое другое, полусмытое дождями и занесенное пылью и грязью. На другой, тоже полусмытый и запыленный, эфиоп с выкатившимися белками глаз, раздув щеки, курит громадную, с бревно, папиросу, из которой дым идет, как из паровоза. А над вывесками, жалобно визжа, раскачивается по ветру на ржавом железе когда-то золоченый, а теперь совершенно облезлый деревянный крендель. Такие же полусмытые полинявшие буквы гласят над дверью: «Бакалейная торговля Умникова».

Мишка с минуту в раздумьи стоит на крыльце, подняв брови, глядит на стеклянную засиженную мухами

дверь, не спеша отворяет, и хрипло вздрагивает ржавый, полуразбитый колокольчик. Только за порог, а мальчика уже колюче встречают из-за стойки маленькие с разбегающимися морщинками глазки. Оставляют нестирающееся впечатление поджидающей злобы поджатые губы. Раздуваются бледные тонкие ноздри. Седящая борода клином.

А навстречу мальчику будто другого человека медово-ласковый голос:

— Что, миленький?.. Али кренделька? Может, конфеточки?.. Деньжишки есть ли?

А сквозь щелочки с разбегающимися морщинками маленькие беспокойные глазки торопливо и зло обыскивают мальчика с ног до головы.

Мишка переступает с ноги на ногу, про себя думает: «чортов Козел...», а вслух сумрачно говорит:

— Овес принес.

— Ну, что ж, ничего... ничего... можно и кренделька... можно и конфетки...—доглядывая на дверь, торопятся бледные ноздри и, разинув мешок, шипят нето ласково, нето злобно: — Сыпь, сыпь, сыпь... шш... сыпь, сыпь!..

— А сколько дашь?

— Шшш... ссыпь, сы-ыпь!..

Мишка нерешительно выгребает из-за пазухи овес в мешок, развязывает штаны и сыплет. Козел, злобно играя мускулами щек, завязывает и засовывает мешок под стойку. Сердито сует мальчику крохотный кренделек и, уже не скрывая бегающей в глазах злости, шипит, как потревоженная в сухой траве змея:

— Шшш... сту-па-ай!.. ступай, ступай!..

Мишка бледнеет, как полотно, дико глядит и говорит, срываясь, дрожащими губами:

— Я, было, пропал... еще бы трошки, меня бы убили... а ты кренделек... Пуд-то рубль двадцать стоит, а тут больше полпуда...

— Ступай, ступай, ступай!.. А-а!.. Где взял?.. Не сеешь, не жнешь, стало быть, украл... стало, украл!.. Ага-га-га!.. во как... Это что?.. Это те икона... свечечка теплится... грех!.. грех — перед иконой стоишь...

Мишка, весь дрожа, визжит:

— Давай деньги!!

Козел, сунув еще такой же крохотный кренделек, торопливо подталкивает к дверям:

— Ступай, ступай, ступай!.. шшш!.. Боженьку гневись, боженьке молиться надо, а ты — вор... вор!.. Свечечку поставь, отмаливай грех!..

Мишка кричит звериным, не своим голосом:

— Ай-яй-яй!.. Слушайте все... краденый овес... Я украл, а он спрятал... Вот в мешке... Украл у Созонта, а он спрятал.

Огоньки испуга и злобы, мигая, путаются в маленьких бегающих глазах.

— Тсссс!.. шшшш!.. Ступай, ступай, ступай!! На... еще... на!.. Ступай, ступай... Свечечку поставь... моли грех...

И Мишка с двухкопеечной позеленелой монетой и несколькими бубликами вылетает вышвырнутый на улицу, едва успевая подставлять ноги, чтобы не раз-

биться о мостовую, и сзади, дребезжа, захлопывается дверь, разом отрезывая все еще злобно ползучий шопот.

Тупо и равнодушно шел Мишка, жуя бублик. Усталость овладела ослабевшим телом. Грохотала и дымила фабрика.

Мишка был один. Тесный и узкий мир угрюмо стоял кругом сдвинувшимися домами, дрожавшей от неумолкаемого безумия фабрикой, рекой, мутно игравшей радугой, и вечной тусклой мглой, сквозь которую уже не светило солнце.

Опять у реки за фабричной оградой сидел мальчик, ковыряя землю, прислушиваясь к неясно и отрывочно уплывавшим мыслям, и жевал бублики.

Сам не знал, долго ли сидел, но, должно быть, долго, потому что вдруг дрожа загудел гудок, и, когда поднял голову, кругом лежали сумрачные тени.

Точно повинувшись этому повелительному для тысяч людей медному голосу, Мишка поднялся и пошел по переулку, неверно и устало, тупо равнодушный ко всему, что его ожидает.

Мигали одинокие огни фонарей, траурно трепетали черные тени. И в этой черноте шли люди, много людей, смутно невидимые, — тысячи шагов глухо наполняли переулки... И Мишка шел.

Остановился, утомленно закрыл глаза, жадно ожидая отдаться тихому темному покою, стирающему все, что было, есть и будет.

Нестерпимая рвущая боль разом разбудила. И мигнули фонари, и заколебались трепетные тени, и шли

люди смутные, неясные, и гул множества шагов наполнил переулочек. Сердитая знакомая жесткая рука вела, отдирая ухо. Мишка, судорожно уцепившись за нее обеими руками, торопливо, боком, вытянув шею, шел, повизгивая, как наказываемый щенок, и бессмысленно повторял ненужные, ничего не могущие поправить слова:

— Не бу-ду... не бу-у-уду-у!.. Батя, не бу-ууду-у!..

Отворилась дверь, поднялись по лестнице, пошли по коридору, и все стояло в тусклой темноте:

— Не бу-ду... не бу-уду, не буду-у!..

Когда вошли в комнату, его швырнули за ухо на пол и, наполняя злыми слезами, криком и причитаниями слабо пронизанную уличными огнями комнатную темноту, набросилась мать и стала бить как попало, а отец молча снимал с себя и складывал вдвое ремень.

Мишка катался, кричал: «Не буду» и сквозь свои крики и вой со странным болезненным чувством прислушивался к слезам матери, полным такого неисчерпаемого отчаяния, что Мишка забывал о своей боли и ловил руку матери, чтобы поцеловать...

— Да ирод ты, да злодей ты наш, да погубитель ты наш... и что же нам с тобой, с упырем, делать, и что же нам с тобой придумать!.. Ведь через тебя, злодея, вся семья голодная, из квартиры гонят... Да разнесчастная я, да на горе, да на муку родила тебя, погубителя! Ой, я разнесчастная!..

Она бросила его, упала головой на стол и беззвучно билась в рыданиях, и Мишке казалось, не из-за его

побега, а из-за чего-то огромного, тяжелого, что давило их всех.

Отец молча встряхнул его за шиворот, как платье, которое собираются выбивать, и среди жутко наступившей тишины, разрезая воздух, завизжал ремень. Он впился во всю длину в конвульсивно дернувшегося мальчика, разорвал ветхие штанишки и в'елся в затеплившееся кровью тело.

Это было до того больно, что Мишка не закричал, а длинно выдохнул удивленное: хх-а-а!.. — и нечеловеческий, звериный крик безумно заметался в темной примолкнувшей комнате. Ребятишки притаились в уголке. Ремень с визгом ловил извивавшееся тело и на секунду в'едался в него.

Мать кинулась, повисла на руке отца.

— Будет... будет, Микола Иванович!.. будет!..

В тускло озаренной с улицы темноте — молчание. Даже сонное дыхание не нарушает его. Молчит и Мишка, неподвижно лежа в своем углу. Он замолчал еще тогда, под ремнем.

Неподвижно глядит сухими, без слез глазами, смутно разбирая контуры сходящихся стен и потолка. И опять Мишке кажется: он — один во всем мире, и только темнота тесно и узко сдвинулась. А в темноте его враги.

И первый враг — отец. Нет того отца, который по утрам устало кашляет надрывающимся кашлем, а какой-то другой, молчащий, у которого один звук — свист ремня, которого он не может рассмотреть в темноте.

Второй враг...

Он обходит слово «мать», которое подсказывает кто-то злой и холодный с ожесточившимся сердцем... Нет, не мать. Пусть она спит с тихим дыханием в этой темноте, намаялась; не мать, а... Козел. И Мишка радостно чувствует, как ненавидит Козла. Ненавидит его и будет всячески гадить ему. Будет плевать в кадку с патокой, наторкает в банку с вареньем, в кислую капусту непременно подбросит дохлую мышь, пусть прокиснет, и непременно пустит из-за угла камнем в окно... Ха-ха-ха! Пусть вставляет.

А Созонт?.. Какой это упорный и злой враг. Он у него будет постоянно таскать овес, будет дергать за хвост лошадей, чтоб досадить... А Каменная Баба?.. а?..

Хочется спать, ах как хочется спать!.. Больно, нельзя пошевелинуться... Спать, спать, спать... Очень больно... Только бы уснуть, только... спа-ать...

Еще не успеет утренняя тьма рассеяться, за окнами все тот же гудок, что вчера, третьего дня, тот же, что завтра, послезавтра, без конца, упорный, ровный, не знающий ни жалости, ни пощады. Потом целый день в душной, дымной, промозглой комнате с ребятишками, которых надо кормить, смотреть, возиться. Потом приходит отец с работы, и все ребятишки притихают. И так без срока, без отдыха, без перерыва...

Мишка смотрит в окно на потемневшую улицу, а с улицы смотрит в окно ночь мигающими фонарями.

— Тя-атька, отдай меня на фабрику.

Отец усталый, сердитый после работы, хлебает ложкой. Лампочка тоненько, унывно поет, шевелясь черно-

бегущей через разбитое стекло коптящей струйкой. По стенам, судорожно тыкаясь, ползают мутные тени.

— Отдай-ай!.. — гнусаво тянет Мишка.

— Ну, цыц!..—злобно стучит ложкой по столу отец.
— Куда тебя, щенка, вести? На чорта ты кому сдался?..

Мишка отодвинулся, каждую минуту готовый броситься наутек, и еще жалобнее гнусавит:

— Ну, отда-ай в училище... Чего же я так — ба-сурман... Отда-ай... отда-ай...

Ложка, разбрызгивая горячие капли, больно вляется Мишке в лоб, а голова начинает мотаться из стороны в сторону в отцовской, крепко захватившей волосы руке.

— Ай-яй-яй-яй!.. Не буду... не буду!.. Тятка, больше не буду!..

Ночью, когда сквозь темноту окон тускло отсвечивают уличные фонари, в душной, затхлой комнате на все лады подсвистывают носами ребятишки, Мишка, ворочаясь под лохмотьями в своем углу, слышит, как отец с матерью разговаривают вполголоса:

— На фабрику все одно не возьмут... и в подручные годы не вышли...

Молчание. В темноте сонно бормочут ребятишки и опять усердно подсвистывают заложенными носами.

— Терентьев сказывал, что в трактир можно, да поглядел, тоже, говорит, мал.

Опять помолчали, Мишка думает о трактире, о «машине», которая играет там день и ночь, шум, звон,

говор, табачный дым, а он, Мишка, в белой рубаше и штанах, в сапогах набором, разносит на подносе чай, водку, закуски. Весело!

Он торопливо лезет рукой под лохмотья в самый угол и нащупывает наполовину выкуренную папиросу.

«Тут. Думал, пропала».

— В училище надо бы отдать... Вот до чего надо... душа болит за него...

А голос матери:

— Как отдать-то?.. Кто же дома-то?.. — Мне уж не ходить тогда на поденную... не выбьемся...

И снова только темнота, и в темноте кто-то над Мишкой: «бум-умм»...

Он засыпает тяжело и тревожно.

Любил Мишка субботы, когда на фабрике производился расчет. Это бывало два раза в месяц. Отец приходил тогда раньше обыкновенного. Глаза у него блестят, на тусклых щеках слабый румянец, и слегка пахнет водкой. Выкладывает на стол связку баранок и деньги.

— Ну, на, мать, распоряжайся да самоварчик нам сообрази.

Мать первым делом раскладывает кучечками медяки, двугривенные, пяталытннички, — кому сколько долгу платить, и лицо у нее становится озабоченнее, морщины глубже, глаза чаще моргают.

А отец ложится на скрипучую кровать.

— Ребятёнки, сюда.

Все, как цыплята, забираются к нему. Кто примащивается на животе, кто обвивает ручонками жилистую,

худую шею. Мишка, старший, солидно присаживается на краю.

— Ну, начинай, — говорит отец.

И все тоненько, разногласно, кто куда попало, но очень старательно начинают:

— Ца-а-рю не-е-бе-сный, у-те-ши-те-лю ду-ши исти-и-нныя.

У отца козлиный, прыгающий голос. Он глядит в черный потолок, собирает на переносице брови, широко раскрывает рот и так старается, что на носу выступают капельки пота. Мишка сурово, сосредоточенно, сверкая глазами и прижав подбородок, поет басом, как подобает старшему в семье. А маленькая двухлетняя Нютка, сидя у отца на животе и удивленно сморщив лобик, крохотным, как белокурый волосок на ее головке, голосом из всех сил старается выговорить:

— Цалю небесный... уте-си-те-лю... души...

— ...Четыре тридцать пять... да за воду двугривенный, да Федоровне долгу восемнадцать копеек... — слышится шопот матери, и лицо ее еще глубже изрезано морщинами, и еще глубже впали глаза, и еще болезненной собрались на переносице брови.

— ...по-о-ми-илу-уй нас!.. — разногласно заполняется задымленная темная комнатка.

И уж нет этой низкой темной комнатки, нет непрерывного царящего над околотком гула, нет грязных, тесных, вонючих переулков, вечной, непроходящей мглы, а идут попы в золоченых, сверкающих ризах, тонко голубеет пахучий ладан, и согласно и стройно

за душу хватая, поют в черных с серебром кафтанах певчие:

— Госпо-ооди-и, по-оми-илу-уй!..

Мишка искоса поглядывает на отца, на его запавший, раскрывающийся, с обвисшими усами рот. Это не тот отец, который нехотя поднимается по утрам под гудок, долго кашляет, сердито кричит на мать, на детей и жестоко порет его, Мишку, за малейшую провинность, нет, это совсем другой человек, которого редко видит Мишка и который так прекрасно поет чудесным козлиным голосом:

— Го-о-споди, по-о-ми-и-лу-уй!..

«Ну, ничего... пускай... Не буду больше трогать Солонга, — думает Мишка, — и овса не буду у него больше воровать, и в дыру в стене не буду лазить... никак ее решеткой заделали, все одно не пролезешь...»

Уж давно стемнело, и уличные фонари освещают в темные окна. На столе курлыкает, шипит и брызгается самовар, кутаясь в облаках пара; тоненько колеблясь, траурно коптит на стене лампочка; вкусно глядят со стола баранки, и хлопотливо возится, приготавливая ужин, мать.

После «Царю небесный»... поют «Отче наш», «Богородицу» «Взбранной воеводе», но выходит хуже, в первых, потому, что все голосами сбиваются на «Царю небесный», во-вторых, Нютка неизменно поет:

— Цалю небесный... святей клепенький... помилуй нас!..

А когда обсядут стол и все с потными лицами, обжигаясь, пьют жиденький, белый, как вода, чай, откусывая

по крохотному кусочку сахара, и с треском разгрызают крепкие, как орехи, баранки, которым возрасту не меньше десяти лет, отец глядит на Мишку, любовно хлопает по тоненькой, худенькой спине и говорит:

— Ну, расти, расти... большак!.. Будет отцу-то одному, — гляди, пристанет, пора и в паре итти... а?.. Скоро, Мишка, по гудку вместе будем ходить?..

Что-то дрогнуло у Мишки, и какой-то холодный, жесткий ком тает в маленьком ожесточенном сердце, и хочется схватить эту жесткую, мозолистую руку, прильнуть к ней губами, пряча теплые, ненужные, детские слезы, но ласка — редкая гостья, и Мишка хмурит брови, дует на блюдечко, с шумом тянет губами чай и говорит, подвигая стакан матери:

— Ну-ка, плесни мне еще.

И вытерев губы:

— Сказывают, Малафеевская фабрика стала, котел разорвало, трое сварились, да человек восемь попортило — в больницу отволокли.

— А около лавки солдаты шли, на голове у них хвосты, — смешивается с тоненьким звенящим пением самовара тоненький звенящий голосок Нюты.

Отец любовно осоловелыми, с трудом поднимающимися глазами смотрит на ребят.

— Ты бы, старик, ложился—вишь клюешь,—говорила мать, убирая посуду.

Погодя немного в комнатушке, заполненной неподвижной тьмой, воцаряется усталый сон.

Дни бегут, все так же начинаясь и кончаясь гудком, все так же заполненные вечно нависшей мглой, вечно

дрожащим гулом, постоянной возней с ребятами, постоянными попреками и бранью матери, все так же по утрам уходит, кашляя, отец и приходит к ночи темный, усталый, злой, и рука у него тяжела.

Солнце пригревает все больше, каждый день все выше поднимаясь над крышами, и около полудня стало на минутку заглядывать даже в переулок, где жил Мишка; корочкой стала затягиваться никогда не просыхающая грязь.

Когда Мишка бегал за чем-нибудь для матери в лавчонку, пьяный, необузданный весенний день охватывал его. Воробьи, как ошалелые, наполняли весь переулок безудержным гамом, на подоконниках ворковали голуби, кричали галки, и сквозь мглу ласково, любовно светило теплое весеннее солнышко.

Мишка во весь дух бежал, перепрыгивая, как козел, через грязь, в лавку и из лавки, только одного боясь, только одно подавляя всей силой воли—не убежать на простор, на солнце, на воздух.

— На копеечку—масла... на копеечку—сахара, на копеечку — соли... — твердил он, прыгая, напряженно стараясь заглушить и воробыный гам, и воркованье голубей, и крик галок, и светлую, ласковую, зовущую улыбку солнца.

А когда прибежал в затхлую, угарную, с темными окнами комнатнушку, говорил задыхаясь от быстрого бега:

— Матка, листики уж на деревьях вылезают, ей-богу!..

— Ну, ну, я тебе дам листики!.. я тебе такие дам листики!.. Если убежишь, и не приходи... Отец сказал— убьет и без разговору. Так и знай. Возьми Нютку-то, не видишь, — заснула.

И Мишка укачивал сестренку, ходил за водой, колол лучину, таскал уголь, мыл полы, старался ни о чем не думать. А воробьи, а голуби, а галки, а ласточки, а весенний ветерок? Все щебетало, ворковало, кричало, смеялось, лезло ему на глаза и звало его к себе, безумно веселое, яркое, живое. Нахмурившись, стиснув зубы, Мишка работал.

— На копеечку—чаю... на три копеечки—хлеба... на две копеечки — гусака... — и прыгал через грязь, и бежал к лавочке.

Мишка, пригреваемый солнцем, сидел под фабричной стеной у реки, которая мутно несла побежалые цвета, ковырял землю и думал.

В руках было целое богатство — два пятака, а в сердце тяжелый холодный комок ожесточения.

Солнце, галки, воробьи, уличное движение и суета, звонкие веселые голоса, которые трепетали и бились о стены домов, пересилили Мишку, и вместо лавки он пустился бежать за фабрику. Дом остался где-то далеко, точно его отрезали, и не было уже возврата.

«Эх, кабы товарищ!..» — думал Мишка и с тоской глядел вдоль реки, неведомо куда двигавшейся мутной массой воды, терявшей поворотом за соседними, сбившимися серой кучей строениями.

Все мальчуганы одногодки, кого знал Мишка, с утра до вечера были заняты: кто, как Мишка, возился дома

с ребяташками и по хозяйству, кто был в мальчиках в трактире, в лавке, пивной, и только немногие бегали в школу до обеда, а после обеда возились с домашними делами.

Мишка в раздумьи поднялся и, осторожно обходя ссохшуюся комками грязь и разглядывая свои босые грязные ноги, без цели стал бродить по переулкам.

На углу знакомый крендель, стеариновые свечи, голова сахару, курящий эфиоп... Мишка остановился, рассматривая, думая о другом, потом поглядел на свои пятаки в руке.

— Нет, погожу, пригодятся...

По ступенькам из лавки спускался мальчик, годом старше Мишки, опрятно и чисто одетый. По его белому доброму, довольному лицу мелькнула тень испуга, недоумения и желания спрятаться, когда увидел Мишку. Стал осторожней и тише спускаться, упорно глядя под ноги на ступеньки.

Черная исхудалая Мишкина рожа злорадно перекосилась.

— Козлов сын идет, бородой трясет, ме-ме, сказать не может...

Ваня весь с'ежился и хотел пройти, не замечая, но Мишка с обезьяньей ловкостью прыгнул и загородил ему дорогу.

— Ну-у... чего тебе надо?..—певучим голосом жалобно протянул беленький мальчик, испуганно подняв брови.

— А вот чего... — и Мишка уже приготовился вцепиться ему в волосы, да вдруг раздумал, взял за рукав, и пошел рядом, хитро заглядывая в глаза.

— Ванька, слышь, каку штуку я надумал, ей-богу, узнаешь — оближешься...

— Ну, чего тебе... Меня батя послал... некогда мне...
— недоверчиво и плаксиво протянул мальчик.

— Не трону, убей меня бог, не буду трогать...
Штуку, брат... слышь ты?

Он остановился, придерживая за рукав мальчика и с чрезвычайной убедительностью глядя ему в глаза.

— Ну, чего ты?

— Слышь, убедем вместе... Постой... убедем, я тут одно место знаю... на колокольню влезем... галчата, воробьята, сколько хочешь... Посмотрим оттуда... далеко видать... а голубей, турманов наберем, ой-ой-ой!..

Мишка скроил такую чудовищную рожу, что мальчик приостановился.

— А ты лазил?

— Не лазил, а Игнатка говорил... Фу, говорит, аж дух замирает.

Мальчик подумал.

— Да меня батя послал письмо опустить.

— Дорогой опустишь.

— Да велел скорей приходить.

— Скажешь, пожарные ехали, а назад полиция не пропускала — пришлось далеко обходить.

Мальчик постоял, глядя вдоль переулка.

— Грех врать.

— Дураку грех, умному на прибыль.

— Ну, пойдем, только не долго, да письмо надо опустить.

— Письмо давай, зараз опушу.

Мишка повертел перед носом, понюхал.

— Керосином воняет да конфетами. И чего тут написано? Жалко, неграмотный, а то бы прочел.

— Пойдем направо, я знаю тут ящик почтовый.—

Фу, куда там направо. Нам прямо надо на Миколу Мокрого, что крюку-то делать.

— Да письмо же надо...

— Ну постой тут, да не сходи с места, я зараз.

И Мишка исчез за углом. Остановился, изорвал в клочки письмо, засунул в широко зиявшее отверстие водосточной трубы, и через минуту был около Вани.

— Ну, идем скорей, а то Козел увидит.

— А письмо где?

— Фу, да опустил.

— Тут я не помню ящика.

— Мало чего не помнишь... Пойдем скорей, Козел увидит — все пропало, а там голубей несть числа, темно от них, — и он торопливо потянул растерянно и недоумело оглядывающегося Ваню.

Мальчики торопливо шли, и все тянулись узкие, кривые, грязные, вонючие переулки, угрюмые, с осыпавшейся штукатуркой, с зияющими окнами дома, черные, закоптелые фабрики, заводы, высоко дымящие трубы, и надо всем все покрывающий гул, а над ним вечною мглой дым. Этим переулкам, этим грязным улицам, этим темным сырým домам, этой дымной мгле, казалось, ни конца, ни краю.

— В эту субботу купил трех голубей, один турман — здорово перевертывается.

— На кой леший тебе покупать, коли даром наловим сколько хочешь, хоть на воз клади, — говорил Мишка, торопливо семеня босыми грязными ногами, стараясь постоянно держать в напряженном интересе Ваню, который так же торопливо постукивал каблучками козловых сапожек.

Долго шли, и долго тянулись такие же запутанные переулки и улочки, и на углах лавчонки с кренделями, с стеариновыми свечами, с курящими турками, и из лавчонки выглядывал хозяин, похожий на Козла.

Потом улицы стали раздаваться, стали прямее и шире; вместо гула, который то усиливался, когда шли мимо фабрики, то падал, когда проходили ее, катился ровный, однозвучный грохот экипажей и шуршанье тысячи ног, топтавших широкие тротуары. Уже не было лавчонок с курящими эфиопами, а, ослепительно блестя на солнце, глядели колоссальные зеркальные стекла магазинов.

— Да куда мы идем? — и Ваня приостановился, — ведь Микола Мокрый в другой стороне.

— Ну, пойдем, все одно... заглянем тут в одно место, а там и к Миколу.

Пошли.

Дома стояли высокие, веселые, чистые и на солнечной стороне ослепительно блестели стеклами. Внизу в магазинах все было видно внутри, — люди входили, снимали шляпы, рассматривали товары, подходили к кассе, жестикулировали друг с другом, точно все это происходило на улице, которая расширялась туда, внутрь дома за сплошное терявшееся для глаза стекло.

Из-за угла вывернулся трамвай и, торопливо роняя синие искры, скрежеща на повороте рельсами, все делаясь меньше и меньше, побежал по бесконечно уходящей улице. И сколько глаз хватало, все та жедвигающаяся, торопливая пестрая толпа, бесчисленные экипажи, лошади, стук копыт и колышавшийся надо всем пестрый гул.

— А?.. видал?!.

У Мишки глаза загорелись.

— Поедем... ей-богу, а?.. поедем, Ванька!..

Ваня приостановился.

— Да куда поедем-то?

— Фу-у, да поедем... ну! — и он потащил мальчика за рукав.

— А деньги?

— Ну, у меня... поедем!..

Они дошли до угла.

Как в водовороте, шумящая толпа огибала угол и беспрерывно без конца и краю широким потоком неровно и колеблясь подвигалась во всю ширину тротуара.

— А?.. А у нас-то!

— Сколько их... Целый день шатаются... Ишь, делать нечего.

— Гляди, выскочил!.. Из-за угла, скрежеща и кренясь на завороте, снова вывернулся трамвай и, скрипя тормозами, остановился. Мальчики кинулись, стали продираться сквозь входящую и выходящую публику. Ваня вежливо давал дорогу то тому, то другому и все никак не мог добраться, Мишка свирепо работал кулаками, локтями, коленями

и головой, которую опустил, как бодающийся баран, и даже попробовал кого-то укусить.

Кондуктор грубо дернул его.

— Ты куда?!

— Туда, куда и все.

— Милостыню просить... Пошел!

— Сам проси, коли хочешь... я за свои деньги...

Вот за двоих... — и Мишка разжал ладонь с двумя пятаками, суя ее к самому носу кондуктора.

— Ну, ладно, ступай, да смотри мне!

— И так смотрю, глаза есть... ты смотри...

— Ну, ну, огрызись еще!

А Мишка уже с площадки отчаянно жестикулирует товарищу:

— Ванька, сюда!.. слышь, вали!..

И оба, ухмыляясь, оглядываясь и подмигивая друг другу, устраиваются в самом углу площадки. Вагон дернулся, и с все повышающимся звуком мимо побежали назад дома, зеркальные стекла, пестрая текучая толпа, лошади, экипажи и быстро мелькающая мостовая. Как впадающие серые реки, проносились, разрывая дома, поперечные улицы, на мгновение тоже бесконечно уходя в голубоватую дымку.

— Вот так дует, а? Ванька!—И вдруг зашептал:—
Гляди, барыня кака сидит... кабы не лопнула... надулась-то...

Публика сидела чинно и молча, глядя перед собою или в окна. У всех белели крахмальные воротнички, а у дам на шляпах от покачивания вагона шевелились огромные цветы и перья.

Мишка все дергал Ваню:

— Ванька... гляди, у ей на голове птицы...

— Тише... кондуктор...

— Должно, с гнездами... небось, и яйца есть... Вот бы достать!

Мальчишки прыснули, зажимая рты руками.

Дама сердито шевелила перьями.

— А энтот.... возле-то... не может нагнуться наперед... вся шея в кадушке...

— По самые уши...

— Кре-епкая!..

— Бе-елая...

— Ишь ты, на стороны только голову поворачивает

— Ему хочь на коленки сядь, не увидит, не нагнет голову...

— А на голове кверху ногами ведро... хочь зараз черпай...

И ребятишки опять прыснули, что есть силы, зажимая себе рты и кусая пальцы, чтобы не расхохотаться на весь вагон. Господин так же сердито сидел, как и дама, вытянув длинную шею в высочайшем, туго накрахмаленном, подпиравшем щеки и подбородок воротничке и поддерживая головой огромный лоснящийся цилиндр.

— И не ворочается, а то ведро упадет...

— Прсс... выгонят... мм...лчи!..

Красные, задыхающиеся, они вытирали бежавшие от неудержимого смеха слезы и сопли и давили кулаками животы.

— Миш-ка... бу... дет... бр... брось... а то...—сквозь слезы едва выговаривал Ваня.

Публика стала обращать внимание на двух мальчиков, а сердитый господин, не поворачивая шеи и головы, лишь повел на них, скосив, глаза.

Мальчишки глянули и покатались от хохоту.

На остановке кондуктор взял Мишку за ухо, и Мишка, вытянув шею и стараясь ущипнуть кондуктора, боком шел, чтобы не так больно было, и от пинка вылетел с площадки. За ним мелькнуло испуганное лицо Вани, которого, впрочем, кондуктор не тронул, вероятно, благодаря козловым сапожкам, гладко причесанной голове и чистой одежде.

Трамвай покатился дальше, а Мишка кричал, покаявая кондуктору шиш:

— Эй, ты, белоглазая свинья!.. Слюни подбери!.. слю-уни!..

— Вы чего тут?

Грубый, повелительный окрик раздался над самым ухом, и в глаза бросилось сердитое усатое рыжее лицо городского в темной шинели и белых перчатках.

Мальчики пустились со всех ног и остановились, тяжело дыша, только за углом. С тем же однозвучным грохотом катились экипажи, и с неумирающим шуршанием шли тысячи людей. Проплывали, краснея на шляпах, яркие цветы, чернели цилиндры и котелки.

— А?.. барыня-то... чай, еще больше надулась?..

И Мишка скорчил рожу, по его мнению, чрезвычайно похожую на барыню.

— А барин-то... в ведре... только глазами ворочает...

И снова их охватила неодолимая беспричинная веселость, подавляемый смех. Они шли, бесцеремонно толкаясь в движущейся чисто одетой толпе, присматриваясь к публике.

— Переломится... ей-богу, переломится, — торопливо говорил Мишка, поспевая за красиво одетой дамой с тонкой, сильно перетянутой талией. — Глаза вылезут, разрази меня гром, вылезут!.. —И Мишка, забегая, старался заглянуть ей в лицо, — действительно ли вылезают.

— Мишка, будет, нехорошо, — придерживал за рваную рубаху Ваня, — будет, а то опять городской.

— Какие все ядреные, да лобастые, да краснорожие!.. Жрут здорово!..

— Мы тоже хорошо едим: по праздникам завсегда пирог, по четвергам — кисель.

Мишка остановился, торопливо развязал веревочку от штанов, деловито перетянул живот, опять завязал, а публика продолжала двигаться, обходя и мельком и пренебрежительно взглядывая на мальчиков.

— Жрать захотелось... Будет у меня живот, как у энтой осы. Должно, она тоже с голоду...

— Не-е... в корсете. У господ все в корсете.

И они опять шли. Теперь они перестали смотреть на публику, а все чаще и чаще останавливались перед гастрономическими магазинами.

Сквозь колоссальные стекла желтели громадные сыры, белели всевозможнейшие жестяные коробки с консервами, стеклянные банки с огурчиками, с маринованной рыбой, гирляндами висели колбасы; прижав

ноги, лежали зажаренные, вкусно темневшие, даже через стекло пахнувшие утки.

Мишка подолгу стоял и смотрел. Мысленно с трудом поднимал огромный, как колесо, желтеющий сыр и, ощутив всю его тяжесть, опускал на пол, свирепо запуская в него зубы и долго и с наслаждением жевал. Потом вытаскивал рукой из банки огурчики, маленькие превкусные огурчики, очень похожие на окрашенные небольшие камешки, потом тянул из банки за хвост маринованную рыбу, которую ел с головы, потом...

Ваня дергал его за рубаху:

— Пойдем... чего стоять...

— Фу, да постой!.. — И принимался за самое вкусное и самое любимое — за колбасу.

Он ее откусывал прямо на весу, подняв голову, сначала копченую, которая так чудесно пахнет дымком. Колбаса все становилась короче, а Мишка вытягивался, лез вверх, пока не откусывал последний раз под самым потолком. Потом спускался и принимался за вареную. На ней оставались следы от зубов, и среди нежного розового мяса жирно белели кусочки сала. Колбаса подходила к концу...

Мишка проглотил слюну, но она сейчас же опять набежала, он сплюнул и утрумо проговорил:

— Пойдем.

Они пошли. Ваня молча и боязливо шел за Мишкой, с удивлением присматриваясь к его худенькому лицу с впалыми блестящими глазами, к худенькой фигурке, на которой так ясно, приподнимая грязную рубашку,

выступали лопатки и угловатые острые локти, как будто видел в первый раз. И нето сожаление, нето снисходительная жалость шевельнулись в Ване.

— Мишка, адохлый ты.

— Пошел к чорту... Тебе что за дело?

Мимо равнодушно с тем же заглушающим голоса и слова шуршанием двигалась живая однообразная в своем разнообразии толпа, как будто была только широкая улица, катящиеся экипажи, огромные дома, зеркальные магазины, и не было этих затерявшихся в толпе мальчиков.

Уже не останавливались около гастрономических магазинов, а шли молча и угрюмо.

В одном только месте Мишка приник к стеклу. Громадное во всю стену зеркальное стекло было задернуто изнутри красной шелковой материей. Уголок материи завернулся и был виден с расписанным потолком и стенами огромный зал, весь заставленный столами, покрытыми ослепительно белыми скатертями. За столами сидели люди в черных сюртуках, с белой грудью, ели и пили. Другие люди точно в таких же черных сюртуках, с такой же белой грудью бегали между столами, приносили и уносили блюда, бутылки, тарелки, стояли около столов и глядели тем в рот.

Мишка обегал глазами все столы, дальние и ближние, остановился на одном, где сидело двое, и, не отрываясь, стал глядеть на них. Один толстый с пробритым подбородком и расчесанными бакенбардами, другой с тоненькими, как крысиные хвостики, остро вздернутыми кверху усами.

Толстый завязав вокруг шеи белую, как кипень, салфетку, а с тонкими усиками заткнул угол салфетки за жилетку. Толстый, не поворачивая головы, пошевелил красными жирными губами, и глядевший им в рот человек подскочил, согнулся и налил в бокалы одному и другому чего-то кипящего, золотисто искрящегося.

Толстый взял бокал в руку, и с крысиными усиками тоже взял в руку, и они, покачиваясь, наклоняясь друг к другу и шевеля в бокалах золотившуюся искрившуюся влагу, смотрели друг на друга, шевелили губами, то протягивая, то прижимая руку к груди, потом подняли бокалы, покивали друг другу, сделали на лице улыбки и, запрокидывая, стали глотать играющую, колеблющуюся искристую влагу, и у тонкого на длинной жилистой шее прыгал кадык. Потом толстый отрезал большой кусок мяса, широко раскрыл, как пасть, рот с скверными, почернелыми зубами, положил туда и стал медленно, опускающая и поднимая брови, жевать, двигая челюстями справа налево. Стоявшие возле люди глядели ему в рот; не отрываясь, зажав зубы, глядел Мишка, глядел и Ваня, долго и безуспешно дергавший Мишку за рубашку. Толстый переложил языком кусок за другую щеку и так же сосредоточенно стал жевать слева направо.

Мишка, помолчав, сказал:

— Ну, и здоровый жрать!..

— Ресторан, а это официанты, — сказал Ваня. —

Они, вишь, одеваются, как бары, не отличишь. Это у нас только в трактирах половые в белых рубахах.

Мишка снова торопливо развязал веревочку от штанов и так перетянулся, что живот у него ушел под

ребра. Потом собрал, сколько мог, во рту и плюнул; по стеклу, оставляя мокрый след, потекли белой пеной слюны.

Раздался густой бас с парадного:

— Это что?.. Хулиганить!.. А в часть?.. Огромный швейцар в золотой ливрее шел от парадного. Мальчики бросились прочь, толкаясь и путаясь среди публики. На бегу Мишка, обернувшись, успел бросить:

— Золото себе на брюхо нашил и думает — генерал.

Прошли квартал.

Ваня остановился:

— Надо домой.

Мишка, угрюмо помолчав, небрежно бросил:

— Соскучился по порке?

Опять пошли молча. У Вани дергалось лицо, но сдерживался.

— Надо домой.

— Домой, домой!.. — передразнил Мишка, — а как зачнут тебя пороть, сладко запоешь!.. Дурак! .

И, пройдя несколько шагов, мрачно добавил:

— Кабы поесть только...

Потом вдруг остановился, схватил Ваню за воротник, дернул и озлобленно завизжал:

— Есть деньги?..

Ваня замялся:

— Ну-у...

— Есть деньги?..

Публика сплошной массой шла, обходя их.

— Маленькие скандалисты, — проговорил кто-то.

— Да... не-ету... Ну-у есть... — протянул Ваня, подняв брови и не зная, как отделаться от Мишки, — только их нельзя трогать... крестный подарил... на именины... беречь велел... новенький полтинник...

— Давай!

К лицу Вани, обдавая горячим дыханием, близко наклонилося искривленное злобой лицо Мишки.

— Давай сию минуту!

Ваня, так же недоумело подняв брови, полез в карман, долго рылся, захватывая и опять опуская полтинник, наконец вытащил. Мишка выхватил, зажал в руке и торопливо пошел, Ваня за ним.

— Тут ничего нельзя купить...—говорил заискивающе Ваня, поспевая сзади, — магазины... дорого... Пойдем в с'естную лавку.

Долго шли, пока улицы стали тише, дома ниже, вместо магазинов обыкновенные лавки. На углу Ваня прочитал: «С'естная лавка».

С разгоревшимися голодными глазами оба мальчика вошли туда.

— Ну та-ак!.. — проговорил, выходя из лавки, Мишка с веселыми глазами, тщательно облизывая пальцы, потом вытер их о волосы и штаны, и совсем свободно распустил веревочку на животе.

Ваня шел тоже довольный и веселый.

— Вот так закусили!..

— Ну, а как же крестный теперь?.. Сlopал именнинный полтинник...

Лицо Вани омрачилось.

— Куда-а же мы?—протянул жалобно. — Домой надо...

— Али спина чешется?.. Поспеешь, спустят еще шкуру...

И они без толку и без цели стали бродить по улицам. То попадали в центральные части, и кругом шумела движущаяся толпа, катились экипажи, роняя синие искры, неслись трамваи, то попадали в тихие, укромные улицы, где одиноко чернели редкие прохожие, зеленели и шептали, чуть покачиваясь, деревья в палисадниках.

В одном месте улица расширилась в площадь, и площадь вся была заставлена извозчичьими пролетками. Огромное со стеклянным куполом здание замыкало площадь. К нему то-и-дело под'езжали и от'езжали экипажи, густыми толпами выходил по широким ступеням народ, и сквозь гул, говор, стук копыт и колес доносились звонки, гудки паровозов, прерывистые трели кондуктора.

— Ванька, поедем!

— Куда?

— Фу-у!.. Ну да... прямо... куда-нибудь...— и Мишка нетерпеливо махнул рукой.

Ваня стоял, недоумевающе подняв брови.

— Я не знаю.

— Чего не знаешь?.. Поспеешь домой-то... Поедем, погуляем за городом.

— Денег мало.

— Сколько?

Ваня разжал руку, пересчитал:

— Тринадцать копеек.

— Чортова дюжина!.. Эх, жалко, — много с’ели...
Ну, ничего, поедет зайцами.

— А как заберут?

— Тю-у!.. Ты не будь дураком!..

Поднялись по ступеням и вмешались в непрерывно гудящую, переливающуюся толпу. Торопливо бежали носильщики, гудя катились тележки, швейцар выкрикивал поезда, били звонки, и, надрываясь, тонко и странно выделяясь на всем этом пестром, колышавшемся море звуков, трепетал плач крохотного ребенка.

Мишка подозрительно поглядывал на франтоватых с военной выправкой жандармов, внимательно, не опуская глаз пропускавших мимо себя движущуюся толпу, и, дернув Ваню, пролез в вагон.

Синий дым и говор густо стояли в набитом людьми вагоне. Всюду навалены чемоданы, корзины, узлы; пре-пираются из-за мест, выкрикивают:

— Батюшки, билет потерял!..

— Да вы куда едете?

— Примите ваш чемодан, говорю. Оглохли, что ли?

В сутолоке и суете Мишка опустил на пол и полез под скамейку, но его заметили. Поднялся шум, крики:

— Гляди, полез...

— Ага-га-га, самые жулики и есть!..

— Вот они прорезают чемоданы-то...

— Зови кондуктора...

— И жандарма, да поскорей...

Мишка увидел, что дело принимает скверный оборот, высунулся из-под скамьи, как затравленный хорек.

— Нет... да я ничего... я только... нам только доехать... с товарищем... тут недалечке...

— Знаем с товарищем: один разрезает чемоданы, а другой таскает... Зови скорей жандарма!

Мишку держали за ухо. Он сделал плаксивую рожу и хнычущим голосом заговорил:

— Ой, дяденька, не держи меня за это ухо... нарыв в нем, доктора лечат... держи за другое...

Но когда стали переменять ухо, Мишка хлопнулся об пол, юркнул под скамьи и пополз, как змея, между ногами, чемоданами.

— Держи, держи его!

— Вон под этой скамейкой... лови!

Мишка вынырнул в другом конце вагона и бросился к двери. На площадке стоял Ваня и весь трясся, бледный, с огромными глазами.

— Бежим! — крикнул Мишка.

— Не пойду... я домо-ой!..

— Бежим... я слышал, за тобой жандарма послали.

Ваня пустился за Мишкой. Пробежали два вагона, захлопывая за собою двери. В отделении для некурящих было чисто и мало народу. Наученный горьким опытом, Мишка посидел в углу на лавочке и, когда убедился, что пассажиры не смотрят, осторожно полез под лавку, потянув за собой Ваню.

Они лежали в темноте, неудобно согнув головы и ноги и прижавшись друг к другу. В вагон входили и выходили. По полу мелькали сапоги, ботинки. Хлопали двери. Должно быть, пробил звонок, потому что кто-то, тяжело топоча, пробежал мимо вагона и, торопливо

гремя, прокатил тележку. Проверещал кондукторский свисток, глухо гукнут далеко впереди паровоз, на минуту все смолкло, потом пол дернулся, качнув обоих мальчиков; под полом стукнули колеса и пошли стучать и перекликаться все громче и громче, все быстрее и быстрее.

Лежать было тесно и неудобно. Ваня прошептал:—
Что же мы теперь будем делать?

У Мишки раздувались ноздри, и не хотелось разговаривать.

— Цыц!.. Услышат...

Первое время все казалось, по полу к самому лицу переступают лакированные сапоги и нагибается кондуктор. Но гул попрежнему бежал, ритмически постукивая, и неподвижно выделялись во тьме ноги пассажиров.

Мишка от нечего делать думал. Думал о своих врагах, к которым причислил теперь пассажиров. Они преследуют и травят его, как замученного зайца. За что? Вспомнил и Созонта, и Каменную Бабу, и отца, и Козла, и надутую барыню, и барина в ведре, — все были его враги... Ах, если бы всем им отомстить!

И чтобы досадить Созонту, мысленно дергал у гнедого из хвоста волосы, пускал в Каменную Бабу засохшей грязью, барыне в гнездо на шляпке положилдохлого цыпленка, у барина осторожно провертел дырку в цилиндре, а отца...

Он вспомнил, как отец утром, еще темно, торопливо поднимался, долго кашлял, хлебал что-то и уходил на фабрику, откуда настойчиво и долго несяся гудок, и,

уже темно, приходил, торопливо пил чай, закусывал и ложился, чтобы подняться чуть свет... «Царю небесный»... Отцовская рука ложится на плечо, и голос, который он редко слышит: «Расти, расти, большак, скоро в паре по гудку ходить будем»...

Мишка вздыхает. Ему мучительно хочется быть теперь дома. Ну, выдерут... пусть выдерут... теперь он охотно будет возиться с ребятишками, будет мыть полы, все будет делать...

Мишка сует в бок кулаком заворочавшегося Ваню и закрывает глаза... Та-та-та! та-та-та!.. кто-то однообразно, мерно и скучно рассказывает под полом все об одном и том же, о чем — Мишка не может понять.

Когда на полустанке мальчики незаметно выбрались на платформу, их ослепило и оглушило.

Ослепило солнце, милое, чудесное солнце, которого не бывает в городе, тысячами золотисто-зеленых искр струится, зыблется в живой шепчущей листве, в лоснящихся, как глаз хватает, хлебах, в траве, полной кузнечиков-музыкантов, в ярко кланяющихся головках цветов.

Оглушила тишина, та тишина, которая бывает только в поле, в лесу, в синей степи да над речкой, зеркально прячущейся в лозняках, — тишина, полная птичьих голосов, травяных запахов, полная восторгов, и солнечного блеска, и шороха, и безудержного желания кричать, взмахивать, как птица, руками, и что есть духу, задыхаясь и выпучив глаза, бежать...

— Ага-га-га!.. держи!.. держи его!..

Э, куда там! На самом краю в последний раз обозначился черточкой поезд, родил белый тающий комочек, и — только зубчатая синева, да теряющийся край земли, да синее небо, да неуловимо скользят по траве тени облаков.

Мальчишки, хохоча, хватаясь друг за друга, покачивались по мягкой ласковой траве под откос, переворачиваясь, и весь мир в смехе и радости, как огромный шалун, перевортывался вверх ногами, и голубое небо, и золотое солнце, и деревья, и блеснувшие полоской рельсы. И все стало на свои места, когда шалуны очутились под откосом.

А там пошли по полю, и тут началось: забывудки, гвоздики, заячья капуста, белый ландыш, лукавые длинные травы, все путалось, оплетало ноги, все лезло, синело, зеленело, краснело, просилось в руки, безумно пахло и, захлебываясь от восторга и радости, кричало: «Меня, меня, меня, сорви!.. Я вот!.. только нагнуться»...

У Мишки от жадности разгорелись волчьи глаза, головы не видно было в громадной охапке цветов и трав, которые с трудом нес.

— Ванька!.. о-о-о-а-у-у!..

— Го-го-го!..

И опять солнце, и зеленый простор, и шепчущие макушки, и неведомо куда уходящая полоска рельс... Нет-нет, и блеснут, как выроненная кем-то среди зеленых полей игла.

По опушке тысячи голосов звенят, безудержно зовут, смеются сверху, снизу, из зеленой чащи, из синего неба, из травы, из кустов.

А дрозды! А синички! А зяблики!

А пересмешники-сорокопуты! И по-соловьиному, и по-воробьиному, и по-сорочьи, на все птичьи голоса, всех пересмеивают, всех передразнивают. А самый маленький сидит на сухой веточке и повиливает хвостиком.

Круглые пушистые распухшие зеленые кусты кишат всякой живностью. И у каждого — свой дом, свои заботы, своя песня, свое горе, свои страхи, своя любовь...

Мальчики, утопая в траве, лежали на спине в ленивой приятной усталости и следили за макушками, чуть шептавшими трепещущей белизной выворачиваемых на ветерке листов. А над макушками облака, белые, круглые, не спеша и не отставая, плывут куда-то по своим заботам.

— Кабы да построить высококую колокольню до самых макушек, — говорит Мишка, и из травы виднеется лишь босая с обсохшей грязью нога, перекинута на колено, — да выше макушек до самых до облаков... Гляди, гляди, вон птица... Да. Залезть туда и глядеть вниз: которые пашут, а где железная дорога, а то города, а в городах народ ходит, и наша фабрика, и Созонт возле конюшни хомут шьет, и Каменная Баба сидит, и Козел, и ты их всех видишь, а они тебя не видят. А? Вот здорово-то, Ванька?

— А у нас нонче кисель с молоком.

Мишка помолчал, счищая ногой с ноги засохшую грязь. Потом поднялся, затянул веревочку от штанов:

— Как наелись, а опять хочется... Пойдем.

Уже нет ни железной дороги, ни телеграфных столбов, только поля, да перелески, да птицы, да облака.

Ваня остановился.

— Я бою-усь... заблудимся...

— Фу-у, заблудимся!.. Ежели итти на сход солнца, сейчас железная дорога будет... ее не минуешь...

— Это восток называется, учительница нам говорила в училище.

Мишка молча шел, потом угрюмо проговорил:

— Ну, так что ж!..

Из-за оврага глянули избы. И когда подошли, глянула невылазная грязь, полуоб'еденные крыши, подслеповатые окна, выглянула почернелая убогость, нищета и ветхость, которой было так много, которая так тесно сгрудилась там, в вонючих узких переулках, в угрюмых сырых домах. Но что-то было тут другое, и Мишка глянул на золотое, не дающее на себя глядеть солнце, на зеленую чистоту полей, на синеющий круг горизонта, которого никогда не бывает в городе.

Выскочила собачонка и, захлебываясь, стала провожать их, чуть не хватая за пятки. Отстанет, замолчит и опять нагонит, и опять захлебывается из последних сил, как будто смерть ее пришла.

По-над тыном на сухом месте ребятишки играли, тесно усевшись в кружок, а в самой грязи лежали, утопая в блаженстве, свиньи и сдержанно хрюкали.

Мишка нагнулся к крохотному оконцу, тусклому и мутному, как незрячий глаз, стукнул и проговорил тоненьким голосом:

— Дя-аденька, дай корочку хлеба, есть хочется... проходящим...

Ваня полуиспуганно, полувывжидательно стоял поодаль.

Тихо. Только листья шевелятся на чуть покачивающихся ветвях, да старая обвисшая с крыши солома шуршит, точно мыши ворочаются.

Мишка постоял и пошел дальше, но везде было то же: молчаливые тусклые окна, шопот листьев, да полуистлевшая почерневшая солома загадочно шуршит, залает собачонка, кое-где ребятишки играют, лежат свиньи в черной грязи, и все благословляет с высоты золотое солнце.

Из одной избы вышел крестьянин, огромный, в одной ситцевой рубахе и портках, с всклоченной, в пуху головой:

— А?

Долго зевал и чесал спину, посмотрел на небо, и опять долго зевал, широко раскрывая и крестя заросший рот, еще почесал спину и ушел в избу.

Пробираясь у самых плетней, прошли улицу, и глянуло поле, дальний перелесок.

Мишка остановился и сердито высморкался.

— Подошли, что ли!

У крайней избы старушка вытаскивала на веревке ведро из колодца. Старые узловатые дрожащие руки с трудом, медленно и редко перехватывали мокрую, туго перегибающуюся через сруб веревку, и в глубине что-то плескалось и стучало.

— Баушка, дай-ка пособим. Ванька, берись!

Ваня подскочил, и мальчишки торопливо, радостно и напряженно стали перехватывать быстро поползшую

из колодца веревку, томно обрадованные возможностью потратить имеющиеся силы.

Плещущий звук все выше и выше, показалась дужка, и, бросая серебро воды, из темноразинутого колодца полезло ведро.

— Спасибо, родименькие, спасибо, родные!.. Пожалели старого человека. Откуда будете?

— В город идем, баушка... городские мы. Вот, вишь, на поезд не попали, будем ждать.

— Ну, что ж... подождите, зайдите в избу-то. Покормить-то вас нечем: чай, голодные.

В избе было темно, тесно, низко, кисло пахло овчиной и поросятами.

Старуха полезла в печь и достала черный горшок с остатками запекшейся гречневой каши; вытерла деревянные ложки пальцем и положила на стол. Ребятишки, как воробы, принялись за кашу.

Старуха сидела, подпершись рукой, глядела на них и покачивала головой, повязанной платком с торчащими заячьими ушами.

— Кушайте, родименькие... Либо в услужении?.. Охо-хо-хо, не сладко и в городе. Внуки у меня там, один в трактире, другой в печатне, жалуются, пишут... домой и урваться некогда... Деревня-то, как вымерла, которые в городе, которые на поле... Прикончили кашу-то? Ну, слава богу, яичко бы дала, да все в город увозят, все в город. Вечером коровушка придет, да молочка и понюхать дома не приходится: невестушка у меня сердитая да строгая, все молочко до капельки соберет и росинки не расплещет, — все в город... Наши-то

ребятишки квасок пьют, кваском и пробавляются. Попейте кваску, попейте, квасок хороший, кисленький... Ну, так, все, с божьей помощью...

— Баушка, можно у тебя переночевать? а то нам утром на поезд.

— Ну-к что ж, ночуйте. Сена на сарае много, на сене выпитесь, только чтобы папироски не жгли, боже упаси и помилуй!..

Когда усталое с добрым подернувшимся лицом солнце, на которое уже свободно можно было смотреть, тронуло розовато верхушки верб, деревня оживилась. Чмокая в грязи, шли важно коровы с полно белевшим выменем. Крякали утки, раскачиваясь, спеша откуда-то с пруда и не упуская случая проглотить по дороге камешек, кучку зерен, зазевавшегося жука. Прогнали лошадей. Протянулась телега, утопая по ступицу в грязи. И голоса стояли ясные, отчетливые в тихом розоватом вечернем воздухе.

Спать улеглись на сене в сарае, и уже звезды давно засматривали сквозь дырявую соломенную крышу, а ребятки все не могли уснуть.

Особенная тишина, какой никогда не бывает в городе, не давала спать. И в этой тишине неподвижно и темно стоят избы, вербы и на их ветвях черные комки спящих ворон. Где-то далеко в конце улицы лает собака долго, упорно, не останавливаясь, как будто дело делает, потом и она замолчит, и в темной тишине — только мерный звук жующей коровы.

— Ванька, а энтот мужик, что выходил, должно колдун.

— М-м-м...

Ваня уже спит и не может разодрать глаз сквозь сладкий сон.

Сквозь неровно темную солому мигают звезды. Мишка смотрит на них широко раскрытыми глазами,— может это души теплят свечечки, и их задувает ветром, а может...

«А они ползут!..» — с удивлением и страхом думает. Мишка, не шевелясь и глядя, как в дыре мигает то одна, то две, то несколько звезд, то опять смутно отсвечивает одно небо без звезд.

И стараясь смотреть и не давая смыкаться тяжелеющим векам, он мягко и против воли тонет в этой темной тишине, где давно потонули и избы, и вербы с спящими воронами, и потускневшие и расплывшиеся звезды.

Мишке казалось, он заснул только на одну минутку. Долгий, упорный, настойчивый гудок разбудил его. Мишка вскочил точно укололи его и весь трясся. Ревела корова, и у Мишки отлегло. Он обхватил колена руками, ежась от холода.

В дыры глядело побледневшее небо. Мерно и звучно неслись прерывистые звуки — за сараем доили корову. Петух заорал. Разговаривали гуси. Ваня крепко спал, раскрыв рот.

— Ванька, вставай, пойдем... слышь, холодно. Тот открыл на минутку веки и опять сладко завел их.—

Вставай, слышь, остолопина!

Мальчик поднялся, протирая глаза.

— Спать хочется.

— Пойдем, никак мужик воротился — сердитый.

Мальчики выбрались, ища глазами старуху. Ее не было. Под навесом распрягал лошадь мужик в рваном армяке, и мальчуганы расслышали его сердитый окрик: «Навела тут гостей!..». Выбрались на улицу и пошли по дороге.

Утро торопливо будило просыпавшееся, загасившее уже звезды небо, лес с заспавшимися птицами. И трава, и кусты, и листья — все бело и влажно от густой росы.

— Ну, куда?

Мальчики остановились.

— Я ж тебе говорю — на всход солнца.

— Так всход вон.

Пошли в другую сторону, торопливо мелькая по дороге отдохнувшими бодрыми ногами. Ни железнодорожного полотна, ни телеграфных столбов, все то же просыпающееся поле, все те же, сыплющие бесчисленными каплями росы, кустарники. Деревни не видно.

— Эх, ты!.. Ну, куда?

Опять пошли.

Из-за верб блеснула широкая река. На той стороне стоял, отражаясь белым отражением, высокий берег.

— Де... э-э-э... о-о... э-у ду—у-у!—тонко, как звенящий комариный звук, нето почудилось, нето на самом деле смутно, неясно пронеслось издалека, должно быть, из-под того берега.

Река проснулась и влажно и матово сквозила в тонкой синеве. Еще не поднималось солнце, но небо за лесом было совсем белое, и лес синел зубчатой полосой.

Вода влажно и мерно мыла белый отмытый песок. На песке чернел челн, а возле возился дед, и шел дымок от костра.

— Дедушка, как нам на полустанок пройти?

— Ась?

Он черпнул деревянной ложкой из котелка, подул и попробовал.

— Хороша ушица... Ась?... Стерлядка, сазанчик, ершишка какой и тот пригож...

А с того берега уже явственнее:

— Де-е-е-ду-у!..

Голос был детский.

И вместе с голосом брызнуло из-за леса огнем, и река, как умытая, радостно развернулась неохватимой гладью, до самого пропадающего за дальним лесом поворота.

— Ребятки, покричите ему, глупышу, покричите: принес ли крючья.

Ваня стоял конфузливо, не зная, надо ли кричать или нет, а Мишка приложил ко рту ладонь трубой и завизжал пронзительно-диким басом:

— Крючья-а-а принес ли?

И гладь реки, принявшая в себя золотое радостно взошедшее солнце, повторила много раз:

«.. не-о-ос-ли-и-и...»

И оттуда отозвалось:

— Прине-ос!..

— Ну, садитесь, поедem за ним. Ах, глупыш, глупыш, внучонок-то мой.. Покричите ему, дескать, едем зараз.

Оба мальчика, надрываясь и стараясь кричать басом, заверещали:

— Зара-а-аз... зара-а-аз приедем!..

И опять светлая, ласково улыбающаяся гладь шаловливо повторила много раз:

«а-а-аз... еде-е-ем!!..»

От челнока бежали две светлые волны, а в нем сидело трое. Один с белой бородой и седыми добрыми бровями бурлил веслом светлую, весело игравшую воду.

Мишке казалось, что он еще спит и что снится ему — светлая река, и в реке ослепительно расплавленное солнце, и будто убегает берег, и далеко назади остаются хмурые темные дома, грязные вонючие переулки и вечный, неумирающий гул вместе с дымной мглой, изо дня в день прерываемый лишь ровным, настойчивым, не знающим ни отдыха, ни пощады гудком... Далеко все позади меркнет, тает.

Мишка поднимает глаза: солнце над лесом, тепло, и в играющей воде все ослепительнее, все нестерпимее плавится золото, и уже совсем надвинулся белый обрывистый размытый берег, косо отражаясь в неуловимо-прозрачной глубине таким же белым размытым опрокинутым отражением. И, так же отражаясь, сидел у самой воды мальчик с мешком на плечах.

Челнок ткнулся в берег, и отражения задрожали, запрыгали, уродливо вытянулись и помутнели. И уже не было бездонной глубины, а бежали стекловидные морщины и лизали крутой берег.

Мальчуган прыгнул в живой, закачавшийся, вот-вот готовый черпнуть, челнок.

— Ну, что? — проговорил дед и напряжился, упершись и отпихиваясь от берега веслом.

— Два хлеба принес и крючья. У тетки Матрены корова отелилась —бычок.

И пока один берег убегал, а другой бежал навстречу, мальчики сидели молча, искоса и исподлобья оглядывая друг друга. Хотелось заговорить, и не умели.

Только когда обсели котелок и стали хлебать дымящуюся уху, Мишка, прожевывая хлеб, проговорил:

— С дедом рыбачишь?

— Рыбачу, — коротко ответил мальчик, все не умея освободиться от связывающей конфузливости в присутствии незнакомых... Но потом набрался смелости и проговорил:

— А этот из городу? — и кивнул на Ваню, привлекавшего его своей одеждой.

— Оба из города, — проговорил Мишка, — фабричные.

— Так, так... всякому свое, — дед вытер усы, — и фабричному тоже бывает ничего: гляди, сапоги с набором купит, а то гармонию, играй себе по праздникам...

Мишка торопливо положил ложку, вытер губы и, наморщив лоб, проговорил убедительно:

— Дедушка, я у тебя останусь... буду помогать, рыбачить стану.

Дед добродушно ухмыльнулся в бороду.

— Миляга, а у тебя нет родителей, что ли?.. А есть, разыскивать зачнут, зараз становой налетит, накостыляет деду шею. Просторно, и река, и солнышко божие, а тоже и у нас тесно, ух как тесно!.. Рыбки наловим,

все в город тянем, в город и в город, а как цены нет, и толку нет, только что в город возишь.

— А мы, дедушка, в городе живем — ни рыбы, ни молока, ни яиц и не видим.

— И без вас с'едят... Скушают за мое почтение.

— Мы одного видали, дедушка: рота-астый да толстый, за стеклом сидит, пасть разяват...

— А зубы че-ерные!.. — ...Пасть разяват, а ему туда мясо кладут, хлеб, а которые услужающие льют ему туда пойло же-олтое, вроде как лимонад, а он все глотает.

Дед почесал бороду.

— Они горазды... это они могут, на панском положении.

— Рестораном называется... — проговорил Ваня.

Потом все трое купались, шая и возясь в серебряной туче брызг.

Дед с внуком выехали на реку, и неподвижно чернеет их челнок на светлой глади. Мишка с Ваней голые бегали по берегу, гонялись за мальвой, разыскивали раковины или валялись в горячем песке.

— Дедушка-а!.. — от времени до времени кричали мальчишки, — можно хлебаца?

И светлая река доносила добродушно:

— Ну-к что ж!.. скушайте на здоровье по ломтику.

А когда солнце стало клониться к полям по другую сторону реки, дед сказал:

— Ну, ребята, надо вам и до дому. Будет шалыганить... Возьмите сушеной рыбки, хлебаца да с богом. Отседа направо березнячок, а за березнячком станция,

попросите начальника в красной шапке, — он даром вас довезет.

На станции Мишка снял шапку, приложил руки к животу и, глядя снизу вверх, говорил гнусавым голосом начальнику:

— Пожалеейте, ваше благородие, сироток... дозвольте проехать до города... Ни папы, ни мамы...

И столько в его лице было плутоватой заячьей хитрости, что начальник, улыбаясь, заметил кондуктору:

— Посадите, что ли.

Когда поезд тронулся, и полетели поля, домики, будки, столбы, зеленые откосы, мальчики не могли оторваться от окон.

— А... Ванька, гляди, как чешет!..

И с этой громадной быстротой, точно скашивавшей все встречное, радостное, неодолимое волнение охватывало Мишку.

— А?.. Ванька!.. Теперь я из поезда вылезать не буду...

Полетели навстречу дома, улицы, экипажи, толпы народу, — надвигался город и, когда вышли из вокзала, поглотил их муравейник кипевшей жизни.

Среди уличной непрерывной оглушающей сутолоки встал роковой вопрос: что дальше делать? Мишка остановился, поскреб в голове. Ваня, испуганно озираясь, протянул:

— Надо домо-ой.

Но Мишку осенила новая мысль.

— Слышь ты... все одно по дороге... зайдём к Миколу Мокрому... на колокольню, наберем турманов...

Твой Козел любит; скажешь ему: хоть проходил, да турманов принес, а они денег стоят...

Мишке мучительно хотелось оттянуть время.— Поздно!..

— Чего поздно. Говорю по дороге... все одно...

Только скорей, пока колокольню не заперли.

— Ну, ладно, а потом домой.

Мальчики торопливо пошли среди непрерывно движущейся толпы.

Из церкви несло согласное пение, мигали свечи, пахло запахом человеческих тел и ладана. Из-за дверей не слышно было, но, должно быть, что-нибудь говорил поп или дьякон, потому что головы у всех точно погнуло ветром, стали кланяться, и опять — неподвижные спины, и согласное пение, и запах пота и ладана.

Мишка крестился, оглядывался. На паперти стояли нищие. Ночь торопливо густела, и в темноте тонули главы, выступы и украшения. По улицам зажглись фонари.

— Пойдем, — дернул Мишка Ваню.

Они пошли к маленьким дверям колокольни. Старик-сторож, кряхтя, спустился и пошел к паперти. Мальчики шмыгнули в двери, ощупью поднялись по лестнице. На повороте присели в уголке и стали ждать.

Темно, хоть глаз коли. Наверху мерещится слабый, неуверенный отсвет, должно быть, в пролеты окон. Снизу доносится неясное, неузнаваемое пение.

Ухо чутко ловит скрипучие стариковские шаги, тяжелое, немного хриплое дыхание; поравнялось; потом выше, слабее; смолкло. Постояла тишина. И вдруг ко-

локольная дрогнула тягучим глубоким дрожанием, и стены, и ступеньки лестницы, и спины, и руки, и головы мальчиков, и в ту же минуту, наполняя огромную ночную тьму медлительным гудением, загудел колокол. Как будто не было ни церкви, ни пения, ни людей, а только тяжело гудящие, заполняющие ночь удары.

Мальчики сидели, зажав уши, раскрыв рот,— больно отдается в голове.

Последний удар, и смолкло, но все еще стоит длительно гудящее колебание. Скрипучие стариковские шаги спускаются вниз, и бежит неровная гудящая волна. Захлопнулась дверь, загремел замок, и все колеблется тяжелая тьма, смолкло пение внизу, погасли огни, разошлись люди, в темноте церковь, но еще колеблется неуловимым колебанием неутомимая медь. Наконец смолкла, но у мальчиков в ушах все еще нежно и мягко звучит, как далекое воспоминание, и не хочет погаснуть.

Мальчики поднялись до самого верха. Над головой мутный чернеющий край темной меди. Неясно вырезаются пролеты окон, а в пролетах в океане мрака — бесчисленные огни города.

Беззвучно, неровным мягким полетом что-то темное влетело и так же беззвучно-немо стало трепетно порхать над головами, скорее ощущаемое, чем улавливаемое глазом в темноте.

И этот беззвучно-трепетный полет разбудил страх, и он пополз сосущей мелкой холодной дрожью.

— Это — не голуби, — едва шевеля губами, проговорил Ваня.

Мишка и сам знал, что не голуби, — у тех резкий звенящий полет, а это скользило, как тень смерти.

— Уйдем!..

Прижимаясь и держась друг за друга, стали спускаться в глубокой неподвижной темноте, как в колодезь.

Нащупали дверь, — она была тяжела и неподвижна. Сколько ни били, звук тяжело и глухо умирал, как в подземельи.

Тогда пронесся высокий резкий крик:
— Дяденька, пусти-и!..

Было немо, глухо, безответно.

— Дяденька!.. дяденька!.. дяденька!..

Кричали два голоса, били, что есть силы, ногами в дверь, — было все так же немо, глухо, безответно.

Возле молчаливо стояла темная церковь с огромной пустотой до самого купола, и эхо наводило особенный ужас.

В темноте прополз дрожащий шопот:

— Подыдемся наверх... страшно тут!

Держась друг за друга, нащупывая руками ступени, поползли вверх, и, когда среди крошечной темноты смутным, едва ощутимым отсветом обрисовались пролеты окон, а в них бесчисленные огни города, стало легче. Прижимаясь к холодному камню, держась за парапет, оба не отрывали глаз от огней.

Над головами перестало порхать, только края темной меди тяжело выступали, и было неподвижно, темно и немо.

Может быть, прошел час, может быть, два, может быть, пять. Иногда в вышине пробирался ветерок, и тогда шевелились веревки, и с тоненьким повизгиванием звучала медь.

Мишка напряженно глядел в окно, стараясь подавить страх представлением обыкновенного и виденного, — барыня надутая с гнездами на голове, барин в ведре, огромная жующая пасть с почернелыми зубами, зеркальные окна, магазины, трамвай, — и не мог; было непонятное, загадочное и незнакомое.

Тысячи тысяч огней горят и мерцают, как бесчисленные звезды, и нет им конца и краю. Океан мрака лежит, придавив город, едва приподнимаемый отсветом огней, а они так же равнодушно колеблются и мерцают, неизвестно где теряясь за молчаливо и неподвижно спускающейся чернотой ночи.

В темноте шопот:

— Слышишь?

— А?

Прислушались. Над огнями — гул, глухой, тяжелый. Тысячи людей спали под бесчисленными крышами, которые смутно чудились в черноте среди огней, и непрерывный, невидимо грохочущий, ни на минуту не потухающий подавленный гул.

Там над фабриками носился непрерывный гул, но то был определенный, каждодневный здоровый звук незамирающей работы. Здесь среди ночи, среди молчаливо мерцающих огней этот накатывающийся задавленный мертвый грохот поднимал неодолимый страх.

— Спят?..

— Нет...

— Слышишь?

— А?.. что такое?

Дед с изумлением смотрел на двух свернувшихся комочками от утреннего холода и прижавшихся друг к другу мальчиков.

— Что такое, прости господи?.. Али наваждение!.. —

И он протер плаза.

Мишка первый проснулся и вскочил на ноги, не понимая, где он и что с ним. Глянул в окно: в радостном утре без конца и краю уходили в голубовато-задымленном воздухе бесчисленные крыши.

— Ванька, слышь, ну, вставай!

— Да вы зачем тут?

— Дедушка, да мы... за голубями...

И не оборачиваясь, замелькал вниз по лестнице. —

Ах, шалыганы, шалыганы!.. Нашли место... тут только нетопыри да летучие мыши... Ах, шалыганы, шалыганы!.. Ступайте, ступайте!..

Радостно и весело отдались мальчуганы набежавшему на них внизу шуму и уличной суете, торопливо идя по тротуару. Но когда улеглись первые впечатления проведенной ночи, остановились.

— Теперь домой, — решительно заявил Ваня.

А Мишка:

— Слышь ты... Ежели придем сейчас, — утро, и нас целый день будут драть, а ежели к вечеру, ну, выдерут раз, ну, два и все, надо спать. Али не так?

Ваня и сам видел, что так, и стоял, беспомощно озираясь.

— Ну, все одно. Семь бед — один ответ.

— Так давай твои тринадцать копеек проедем,—
подхватил Мишка.

Пошли, проели и опять целый день болтались по улицам, а когда солнце стало прятаться за крышами, тихонько и нехотя, хмурые и молчаливые пошли домой.

Из-за домов, из-за крыш, рисуясь на дымном небе, вставала высокая черная знакомая труба, и дым, крутясь, валил из нее. Стлалась мгла, и над домами, и над улицами все тот же знакомый несмолкающий гул. И сквозь эту мглу, и сквозь этот гул глядело медное и тусклое заходящее солнце.

Мишка с удивлением остановился. Как будто в первый раз видел этот мертвенно тяжелый дым, слышал этот мертвенно тяжелый гул. Он постоял, вздохнул и проговорил угрюмо, скрипнув зубами:

— Идем.

Вот уже знакомая пивная с выбитыми стеклами, вот казармы служащих. Ваня шел все тише и тише, остановился, закрыл лицо и горько заплакал.

— Ну, разнюнился. Ну, чего?— Да-а, че-его?..

— плаксиво тянул мальчик. —

Че-го? Бить будут... бить буду-ут, на коленки поставят...

Мишка злобно засмеялся.

— На коле-енки!.. — протянул он. — Дурак!.. Чего думал раньше? Не ходил бы. Ишь, спохватился. Так тебе и надо. А как драть-то будут, — с злобной радостью, захлебываясь, заговорил Мишка, — уж так драть, так драть будут!.. Шкуру всю спустят, ни стать,

ни лечь... Ах и драть же тебя будут!.. А-а!.. сахарный!.. Мать твоя сядет тебе на ноги, а работника заставят за волосы держать, а отец зачнет тебя драть, зачнет тебя драть, он у тебя здоровый... Ух, и драть же будут!..

Мишка кривлялся, изгибался, прыгая, скакал перед Ваней, а тот неудержимо рыдал, сдавливая руками грудь.

— Го-о-осподи... да... да... что же э... это... да... за... за... что же... э... это!..

— Молчи!.. — вдруг завизжал Мишка и, как зверенок, кинулся к нему с сверкающими глазенками и сжатыми кулаками. — Молчи, падаль!.. а то укушу!..

Ваня попятился, глядя испуганно расширенными глазами и не узнавая перекошенного злобой лица своего приятеля.

— Жидок на расправу. Ступай за мной!

Мишка пошел вперед, размахивая руками, а Ваня послушно за ним, сдерживая всхлипывания и украдкой вытирая вспухшие красные глаза. Он глядел в худенькую спинку Мишки, на его качающиеся руки, и Мишка казался высоким, сильным мужиком, с которым никуда не страшно, но которого не нужно раздражать.

Когда подошли к Ваниной лавке, Мишка обернулся и сказал:

— Постой на крыльце. Я пойду сперва.

Ваня остался на крыльце. Мишка вошел в лавку, торопливо, беспокойно и, ничего не пропуская, ощупал ее глазами. За прилавком стоял знакомый Мишке благообразный человек с седеющей острой бородкой и

злыми бледно раздувающимися ноздрами. Хозяин так же подозрительно, торопливо, точно обыскивая, ошупал Мишкину фигурку колючими маленькими залезающими всюду глазками.

— А?.. тебе чего?

Под этим пристальным колючим взглядом Мишку охватило чрезвычайное желание исчезнуть за дверьми, но усилием воли он подавил и, весь напряженный, как сжатая пружина, подобрался к стойке, остро следя за каждым движением хозяина, и одним духом проговорил, злобно блестя глазами:

— Ваньку вам привел, слышь?.. Завел я его, сам... он просился, плакал, а я не пускал, завел... все я... сам... он не виноват...

Бледные тонкие ноздри хозяина все больше раздувались, колючие глаза впивались, и медовый голос ласково проговорил:

— А?.. не дослышу... Подь сюда, родимый...

Мишка все так же остро-напряженно караулил малейшее движение хозяина, но от того ласкового голоса что-то мягкое прошло по душе мальчика, и он незаметно для себя придвинулся к стойке и опять заговорил, стараясь быть убедительным:

— Я Ваньку вашего завел, рассказываю... Он не хотел... все я...

И не dokonчил, — голова замоталась в бледных крючковатых пальцах хозяина.

— А-й-й-й-й!.. йюуу!..—визжал Мишка, выдираясь, на секунду замолчал, и в хозяйскую руку глубоко и остро влезли Мишкины зубы.

— А-а-а-а!.. змееныш... — завыл в свою очередь хозяин, а из пальца, который он тряс на воздухе, то-ропливо и ярко капала кровь.

Мишка рванулся головой, оставил в хозяйской руке пук волос и, как резиновый, отскочил к дверям. По дороге, впрочем, ловко успел толкнуть ногой со звоном разлетевшуюся стеклянную банку, плюнул в кадку с маслом, дернул за связку бубликов, которые рассыпались по всему полу, и, словно его выдуло ветром, исчез из лавки.

— Ах, мошенник!.. ах, разбойник!.. погоди.. я те...—донеслось сзади, но он уже, как буря, пронесся мимо оторопевшего Вани, которому кинул: «Ступай, мозгляк... ничего не будет»... — и исчез за углом.

Мишка прыгал через засохшую грязь, через рытвины, ухабы никогда не починающейся изуродованной мостовой, но, чем ближе к дому, тем неохотней и медленней работали ноги.

Немытыми, темными, кое-где разбитыми окнами глядел среди других таких же домов трехэтажный с облупившейся грязной осыпавшейся штукатуркой дом, где Мишку ждало... Он не хотел думать — что, сморщился и почесал ногой ногу.

«Чтоб ты провалился!..».

Подошел к выходным дверям, в которых угрюмо темнела в пролете лестница, и долго стоял, почесывая пяткой ногу, опустив глаза, упорно глядя в землю.

«Убьют!»

Он поднял глаза, и темная лестница угрюмо и недоброжелательно глянула на него, подтверждая: «Да,

забьют»... И эти грязные, с осыпавшейся штукатуркой стены говорили то же, и разбитые чернеющие глазки окон, и стеснившиеся отовсюду дома.

Было пусто, только непрерывающийся гул неустанно наполнял переулок, да в водосточных трубах возились воробы.

И опять стоял и смотрел в землю и на обсохшую на босых ногах грязь.

«Долго бегал... три дня!..»

Лицо его окаменело, судорожно сведенные мускулы окостенели, в маленьких сощуренных глазах горела холодная искра непотухающей злобы, а в сердце знакомый комок тяжелого, жесткого, ничего не прощающего ожесточения.

Стиснув зубы, с раздувающимися ноздрями, спокойно стал подниматься по угрюмой, все о том же молчаливо говорившей лестнице, потом пошел по коридору. И он был длинный, темный, знакомый и вел к одному страшному месту: к неподвижно темнеющей немой двери. Она, казалось, молча ждала Мишку, чтобы плотно захлопнуться за ним и придавить его крики и вопли.

У двери он остановился, с тоской, отчаянием бегая глазами по темному равнодушно тянувшемуся коридору, и вдруг неожиданно для самого себя напряженно потянул дверь, и она с тонким, злорадно скрипящим повизгиванием отворилась.

Первое, что увидел, была мать. Она что-то делала в углу, и спина у ней была худая, согнутая, как у той старушки, а ведь мать гораздо моложе. Что-то стукнуло мальчику в грудь, — нето жалость, нето удивле-

ние, как будто в первый раз увидел. Но сейчас же злобное ожидание и готовность до краев наполнили ожесточившееся маленькое сердце. И Мишка стоял у двери, злобно глядя исподлобья сверкающими глазами.

А маленькая Нютка всплеснула ручонками и весело прокричала тоненьким голоском:

— Ай, Миска плисол, залаз длать его будут!..

Детишки столпились вокруг.

Мать обернулась, и глянуло измученное, исстрадавшееся, изрезанное морщинами лицо, а с этого измученного лица глянули такие же измученные красные, вспухшие от слез глаза. И всхлипывая и не удерживая катившихся слез, она пошла к нему, протягивая дрожащие руки:

— Сы-ынок... сы... сы-но-чек!..

Мишка растерянно бегал глазами по углам, чувствуя, что не умеет удержать, словно горький дым, рассеивающееся ожесточение, удушливо переполнявшее его сердце. И когда мать прижала его голову к своей груди, он вдруг усиленно заморгал, не давая воли едко и щиплюще просившимся на ресницы слезам.

И, справившись, громко высморкался, нахмурился и проговорил толстым голосом:

— Никак Малафеевская фабрика опять работает.

А мать прижимает его, качает, как маленького, и, ничего не слушая, только твердит:

— Сы... сы-но-чек... сы-нок мой... не думали... не чаяли живого увидеть... Отец... отец теперь...

Так они сидят, забыв обо всем, а ребяташки полуиспуганно, полуудивленно жмутся в уголок, глядят оттуда, перешептываются и зажимают друг другу рты.

— Мамка, а в городе девки да бабы перетянут себе живот в рюмочку да ходят, чистые осы.

Он на минутку отодвигается, глядит на мать, на ее изборожденное морщинами, слезами, горем, нуждой лицо, и что-то больно кольнуло его.

— Мамка, а старая ты.

Он хотел не то сказать, и, стараясь поправиться и не умея, проговорил:

— А там в городе-то все гладкие да красномордые ходят...

Лицо матери тронулось усталой, измученной улыбкой:

— Старая, старая, мой родной, без время старая... Ты садись, — чай, голодный, покормлю я тебя, чайку поставлю, скоро отец придет.

Комнатка точно посветлела, было уютно и тепло, на столе в клубах пара весело о чем-то рассказывал самовар; ребятишки, как мухи, обсели вокруг стола и глядели в рот Мишке, который усердно жевал и рассказывал:

— Мамка, а как с колокольни фу-у да и страшно на город смотреть... ночью, только и слышать: гал, гал... гал, гал и больше ничего... А бабушка сказывает: яйца выделяются в деревне, а едят их в городе, а мы тут их и не нюхаем... И отчего это вода в реке там чистая да светлая, камушки на дне видать, а у нас возле фабрики, как из бани?.. А сколько рыбы!.. Я трошки не поймал...

— Да и у нас есть, — хором подхватили ребятишки.

— Да-а, есть... Тут которая и есть, так она брюхом кверху плавает...

— Есть!.. Я сам ловил...

— И я ловила...

— Лови-или!.. Дохлую ловили...

— Ан, врешь, — она трепыхалась...

— Сама врешь... а то вот как дам по роже...

— Ну, будет, будет...—остановила мать, — обра-
довались.

Уже сумерки. На стене тоненько коптит лампочка. За потемневшими окнами звучит усталый, дрожащий гудок умирающего рабочего дня. Мертвый пустынный коридор оживляется, хлопают двери, слышатся шаги, говор, с улицы доносится движение, — возвращаются с работ.

Пришел отец. В комнатке смолкло и словно потемнело. Мишка весь сжался, исподлобья только глаза сверкают, ребятишки притаились.

Отец молча, как всегда, снял рабочую блузу, умылся и, утираясь, бросил:

— Бегун...

И помолчал:

— Откуда явился?

Мишка стоял, глядел исподлобья.

— А мы розог нарезали, посолили... Я ремень ха-а-роший приготовил...

Сердце больно и радостно стукнулось в грудь мальчика раз и два. Сквозь обычный, сурово равнодушный тон он чутко уловил, как непривычно дрожал голос отца, и, как вырывающаяся птица, забилась, затрепе-

тала сверкающая радость. Боже мой! Да разве есть у Мишки враги?! Разве не чудесно жить на свете... разве не греют эти добрые, усталые, глядящие из глубоких впадин отцовские глаза?..

Мишка сделал шаг к нему, и часто-часто заморгал, сгоняя ресницами что-то едкое и радостно проступавшее на глаза. Потом справился с собою и, глядя боком и хмурясь, проговорил толстым голосом:

— А малафеевцы - то нонче никак опять работают.

Сквозь печать всегдашней суровости по лицу отца шевельнулась редкая гостья, улыбка.

— Ну, ну, ну... ты зубы-то не заговаривай... уж я тебе вспрысну, чтоб ноги меньше резвые были... Мать, давай-ка вечерять...

Опять обсели стол. Отец хлебал из миски, а ребята принялись снова за чай, совершенно белый, откусывая крохотные кусочки сахара, без хлеба, без бубликов, потому что был конец месяца, и оставалось не-сколько дней до получки.

Точно по молчаливому соглашению никто не заговаривал о Мишкином побеге. Отец, когда поел и мать придвинула к нему стакан пустого белого чая, стал рассказывать, что сегодня в набивной ставили новую машину, а в ткацкой выскочившим челноком выбило рабочему глаз, и что Китай собирается воевать с Англией, что приезжал директор фабрики, разносил управляющего, мастеров за то, что много расходуются денег.

Когда отец сказал это, спокойно попыхивая папироской, мать вдруг оставила посуду, обернула задергавшееся от злобы лицо и стала кричать злым тонким,

голосом, в котором дрожали слезы, что они и так издыхают с голоду, что все директора — ироды и анафемы, кровопийцы, и кричала долго и громко, как будто директор был в этой темной, дымной, придавленной комнате.

Стояла тяжелая, мутная, нерассеиваемая отсветом уличных фонарей тьма, все давно спали, только Мишка все ворочался в углу под своими лохмотьями. Наконец, сел, прислушиваясь. Тренькал сверчок, сопели и подсвистывали в сонном дыхании дети, и еще какие-то звуки странные, неопределенные, но дружелюбные в этой родной обстановке ползали смутно и нежно в темноте в комнате и за окном.

Мишка поднялся и прокрался к отцу. В темноте смутно и бессильно белела свесившаяся неподвижно рука, и было близко сдержанное негромкое дыхание, выделяясь из других дыханий.

Мишка постоял, потом нагнулся:

— Батя... а, батя?..

Все та же мутная темнота, все те же смутные, неясные, беспокойно ползающие нето в комнате, нето за окном звуки, и сверчок, и дыхание спящих.

— Батя!..

Белевшая рука шевельнулась.

— А?... ты чего?

И немного погодя:

— Ложись... завтра рано вставать. Спи, шатун...

И опять мутная тьма, заполненная сонным храпом, сопением, вздохами, сверчком, кислым, густым воздухом...

Мишка постоял. Хотелось прижаться щекой к руке отца и нето засмеяться, нето заплакать. Он еще постоял, почесал спину и среди мутного отсвета фонарей, среди неясных, неуловимых ночных теней и звуков прокрался в свой угол, лег, прислушался: город сдавленно доносил — гал, гал, гал!..

«Не спят», — подумал Мишка, мягко и сладко теряя мысли, точно, кто-то торопливо ткал паутину, затягивая лицо, веки, слова и усилия, и где-то далеко так же мягко, любовно и ласково тонуло:

— ...а?... спи, спи, шатун!..

ПРИМЕЧАНИЯ К XV ТОМУ

Пятнадцатый том собрания сочинений А. С. Серафимовича включает издание художественных произведений автора (включительно по 1925 г.), которые нам удалось найти. Одновременно в томе помещаются художественные агитки и очерки, наглядно иллюстрируется упорное стремление автора творить для массового читателя. Объединение рассказов данного тома под двойным названием «Советская страна. Рассказы о прошлом» представляется нам наиболее определяющим задачи творчества А. С. Серафимовича в 1918—1926 гг. Наряду с «Железным потоком» и очерками периода гражданской войны, этот том является третьей составной частью минувшего этапа творчества А. С. Отрывки «Борьбы», появившиеся в печати, синтезируют результат этих лет наблюдений, обобщают новый художественный опыт и дают новое качество. «Борьбу» в опубликованных отрывках мы поэтому не включили в данный том.

В конце тома помещены рассказы, самим А. С. предназначенные «Для детей». Это — отдел, независимый от общего состава тома.

Рассказы «Чудо», «Две божьи матери», «Ежедневно творимое», «Таинство св. причащения», «Промысел божий», «Помолебствовал», «Бунт», «История одной забастовки», «Граф Строганов и рабочий Демид», «Как он умер», «Тридцать лет

назад», «Голодные, холодные», «Навыорот», «Бабья деревня» и «В огне» были помещены в собрании сочинений в 1926 г. в т. XI, изд. Гиза.

Рассказы, очерки «Новая стройка», «У текстилей», «Незримые пути», «Чей сад», «Касторка», «Митька», «Сизый нос» включены в собрание сочинений впервые.

Все эти рассказы печатались в журналах «У станка», «Безбожник», «Безбожник у станка», «Экран» и т. д., меньшая часть—в «Правде». Некоторые, как «История одной забастовки», выпущены были отдельным изданием (изд. «Московский рабочий», 1925 г.). Другие вошли в небольшие сборники, изданные «Красной новью». Большинство, наконец, вошло в хрестоматию для школьного и внешкольного чтения.

Рассказы «Лесная жизнь», «Капля», «Медведь» и «Мишка-упырь» включались в специальные сборники рассказов А. С. для детей. «Мишка-упырь» был также напечатан в XI Томе собрания сочинений, изд. Гиза, 1926 г.

А. Зонин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Чудо.....	5
Две божьи матери.....	9
Ежедневно творимое.....	12
Таинство св. причащения.....	17
Промысел божий.....	22
Помолебствовал.....	27
Бунт.....	35
История одной забастовки.....	56
Граф Строганов и рабочий Демид.....	77
Как он умер.....	85
Тридцать лет назад.....	92
Голодные, холодные.....	97
Навыорот.....	106
Бабья деревня.....	112
В огне.....	122
Новая стройка.....	131
У текстилей.....	136
Незримые пути.....	141
Чей сад.....	146
Касторка	149
Митька.....	154
Сизый нос.....	160

Рассказы для детей

	<i>Стр.</i>
Лесная жизнь.....	165
Капля.....	175
Медведь.....	182
Мишка-упырь.....	193
Примечания	268

ЧИТАТЕЛЬ!

Отзыв об этой книге пошли по адресу

Москва, Ильинка, 3

ГОСИЗДАТ

в редакцию журнала

" КНИГА И РЕВОЛЮЦИЯ "

